

игри • серия новые записные книжки

**Игорь П. Смирнов СВИДЕТЕЛЬСТВА И ДОГАДКИ**

*Новые записные книжки*

# Urbi

*Литературный альманах  
издаваемый  
Владимиром Саговским  
под редакцией  
Кирилла Кобриня и Алексея Пурина*

**Выпуск двадцать второй**



*серия*

**НОВЫЕ ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ**

**( 3 )**

Нижний Новгород



Санкт-Петербург

*Игорь П. Смирнов*

**СВИДЕТЕЛЬСТВА  
И  
ДОГАДКИ**

**Санкт-Петербург, 1999**

**ББК 83**

**С 55**

**С 55**

**Смирнов Игорь П. Свидетельства и догадки.** — **Urbi:** Литературный альманах. Выпуск двадцать второй. — Серия «Новые записные книжки» (3). — СПб.: АО «Журнал „Звезда“», 1999. — 128 с.

ISBN 5—7439—0054—X

**Почтовые адреса редакции:**

Россия, 198005, СПб., а/я 69;  
Россия, 603043, Нижний Новгород,  
проспект Кирова, 4, кв. 9, Кириллу Кобрину

*Компьютерное макетирование Н. П. Егоровой*

Лицензия на издательскую деятельность  
ЛР № 062572 от 15 июня 1998 г.

Издательство «Журнал „Звезда“»  
191028, Санкт-Петербург, Моховая ул., д. 20.

Подписано в печать 05.08.99. Формат 60х90/16.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 8. Тираж 1000 экз. Заказ № 177

Типография АООТ «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева».  
195220, Санкт-Петербург, Гжатская, 21.

ISBN 5—7439—0054—X

© Игорь П. Смирнов, 1999

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Кое-какие истории, которые я передаю, выглядят баснословием. Но они не выдуманы. Разумеется, я не претендую на то, чтобы вещать ничем не опосредованную правду. Память шалит. Где кончаются свидетельства и начинаются догадки? Тем не менее никаких поэтических злоумышлений против действительно бывшего, как оно отложилось в моей голове, я не затевал. Если я где-то и соврал, то ненамеренно. Если где-то и приплел красное словцо, то не в ущерб тому, что держу за факты. Чтобы не транжирить попусту читательское внимание, я, признаться, иногда совмещал и опускал детали, которыми не пожертвовал бы дотошный мемуарист. Таковым я не являюсь. Прошлое не представляет для меня ценности само по себе. Я вызывал прошлое из памяти не для того, чтобы запаять его образы в мемуарную консервную банку, но с иной целью: мне хотелось выяснить, можно ли извлечь из их, вроде бы случайных, собраний тот или иной общий смысл. Похоже, что можно. Он просвечивал мне там, где жизненные события оказывались сопоставимыми между собой.

Познакомившись с последней фразой, деконструктивист упрекнет меня в том, что я не различаю жизнь и воспоминание о ней, которое преувеличивает сравнимость лиц и ситуаций соответственно своей заместительной, копировальной природе. Чтобы защититься от подобного рода придирок, я начну издалека и сам пушусь в критику.

Во второй половине 1920-х гг. вошел в моду экзистенциалистский проект человека, противостоящего бытию. Поскольку бытующий, как сказал бы Хайдеггер, ничтожен относительно бытия, постольку такая конфронтация абсурдна. Я уверен, напротив, в том, что наша воля бытийна. Животному инстинкту не ведомо, что такое повторение, потому что он и есть оно. Человек же способен к отказу от возвращения к раз совершенному им. Он отрекается от накопленного опыта, если не удовлетворен им. При этом он становится операциональным существом. Очугившись в кризисе, он ищет средство, которое примирило бы его с собой. *Modus operandi* нужен нам, чтобы обрести *modus vivendi*, чтобы начать заново самовоссоздание. Онтологично то, что

было и опять есть. Мы суть знающее себя бытие. И вне сознательного усилия наладить общение, и помимо биологической предрасположенности к подражаниям и мимикрии, мы повторяемся и повторяем тех, кто нас окружает. Мы принуждены к этому, чтобы подтверждать наше наличие, которое не дано нам инстинктивно. И дабы воссоздать себя, предпосылаем себе «не-я». И нейтрализуем, обезвреживаем «не-я». Как в нас, так и вне нас. Кьеркегор, у которого я одолжил соображение о том, что самовоспроизведение и воспроизведение других приобщает индивида существу, считал, что совершенное повторение разыгрывается лишь в идеальном мире. В практическом же, т. е. меняющемся во времени, повторение не полно, происходит со сдвигом. Терминологической опрятности ради и вопреки моему смиренному желанию не тиранить читательское восприятие логикой придется заменить «повторение» на «эквивалентность». Итак: эквивалентности, из которых слагаются персональные и коллективные жизни, делают их целостностями. Лукач пренебрежительно отзывался о жизни как о бесформенной анархии длительности, как о том, что описуемо только в отрицательных высказываниях. Наши жизни, покоящиеся на эквивалентности, тотальны еще до того; как они завершаются, — возражу я на это. Как бы мы их ни укорачивали, они имеют цель не вне себя (в смерти), а в себе: в том, что в них поддается восстановлению, что ими не отбрасывается. Цель — смысл. Он может отыскиваться и в возобновлении балансирования на грани гибели. Чем острее опасность утратить эквивалентность самому себе, тем больше смысла в эквивалентности. Пожалуй, я переборщил, безоглядно эксплуатируя в «Свидетельствах и догадках» параллелизмы в качестве стилистического приема, не всегда мотивированного материалом. Орнаментальное излишество мне простят те, кто разделят мою убежденность в том, что у текста нет иного способа достичь онтологического статуса, стать достойным сущего, кроме обращения к этой фигуре речи, кроме перевода эквивалентностей, из которых склеена жизнь, в словесный план.

Я пишу в этой книжке о тех, кто старше меня, ввязываюсь в диалоги с теми, кто меня младше, но все же главная эквивалентность, которая соединяет меня с миром, не безнадежно консервативна и не завистливо футуристична. Она включает меня в мое поколение, пусть я и кажусь себе в нем белой вороной. Поколения — поздний культурный феномен. Средние века не знали их. На Руси начало отсчета исторического времени по поколениям следует приурочить, пожалуй, к эпохе раскола. Реформу русской церкви равно обдумывали и Никон, и Аввакум, земляки, явившиеся в Мо-

ску с разницей в год. Но самую первую — неудачную — попытку стать поколением предприняла молодежь, окружившая Гришку Отрепьева. По сути дела любое поколение самозванно, потому что оно старается подчинить ритм культуры тому, что ей противоречит, — биологической смене старших младшими. Люди одного и того же поколения подобны заговорщикам. Какие бы разногласия ни раздирали его, сплоченность на первых порах преобладает в нем — иначе заговор самозванцев потерпит крах. Схизма внутри поколения случается обычно (есть и исключения, к которым принадлежит авангард) тогда, когда оно уже оставило за собой значительную часть своего пути. А затем к внутреннему кризису добавляется внешний. У вас еще уйма неосуществленных замыслов, но кому нужна их реализация, если вас невежливо теснят на покой прыткие заговорщики нового призыва? Плата за подмену культурной динамики возрастной — недолговечность поколения. И когда ваш срок истекает, вы вдруг ощущаете всю вашу зависимость от прошлого, незаметно входившего в те инициативы, которые вы затеяли вместе с современниками.

Когда мое поколение достигло сознательного возраста, постепенно обнаружилось, что оно необычайно удачливо. Ему не пришлось воевать. Оно свело бунт, за который в массовом порядке рискуют головами, до диссидентства, до идеологических прений с существующим строем, стойких жизни и несвободы лишь немногим. У нас не было непреодолимых затруднений при поисках рабочих мест, если мы сами этому не противились. Мало кто из нас писал в стол: когда нельзя было напечататься в родной официальной прессе, свои услуги предлагали нам самиздат и тамиздат. Государство предоставляло нам возможность пользоваться благами научного дискурса — самого бесчувственного к греху из всех дискурсов, самого что ни на есть едемского — снимающего ответственность с субъекта, чтобы перенести ее на свойства вещей. По непуганности мы могли бы почти стать вровень с самоуверенными прогрессистами второй половины XIX в. Почти. Нам мешал в этом соревновании шестидесятников разных столетий опыт двух Мировых войн и Великой русской революции, который угрожающе подпирал нас из недалекого прошлого. Он требовал от нас, счастливых, вроде бы избавившихся от тягот, которыми война проводила наше раннее детство, быть верными несчастью родителей, отдавать должное катастрофе рода как такового, выворачивать наизнанку федорианство — дабы вместо того, чтобы возрождать праотцов, умирать вместе с предшественниками, с физическими и духовными жертвами столетия. В нас присутствовало второе омертвелое «я», шизоидно рас-

калывавшее психику одних из нас и заставлявшее других — на манер Нарцисса — видеть вовне лишь собственный застылый облик. Как странно погибали, как быстро исчерпывали свою бытийность мои однолетки, попавшие в безмятежнейший период истории! Один скончался тридцатидевятилетним на Филлиппинах, куда ему разрешил отправиться из СССР для лечения у тамошних шаманов лично тов. Брежнев. Другой явился на чужую свадьбу и был застрелен из охотничьего ружья разгулявшимся женихом. Третий, начавший всякое утро выпивкой, дошел до такой стадии анестезии, что почувствовал боли, вызванные желудочной инфекцией, слишком поздно, когда врачи уже ничем не могли ему помочь. Кто замерзал на улице, ослабев от наркотиков, кто угасал от СПИДа, не пожелав поставить под контроль бесшабашность сексуальных причуд. Жизни были самоубийственными — самоубийства были не частыми, но и они случались. Мой соученик по университету, покончивший с собой из-за семейных споров о жилплощади, был найден у себя дома уже разложившимся. В выборе способа самоубийства люди, с которыми я поддерживал знакомство, были безжалостны к себе: одна из рано покинувших нас отравилась ядом, предназначенным для истребления насекомых. Я должен был бы рассказать о всех тех, кто умер прежде, чем я. Но я рассказываю только о немногих. Реконструирую скелет поколения по отдельным костям.

\* \* \*

Многое из того, что предлагается вниманию читателей, уже было опубликовано: в «Звезде», в альманахе «Место печати», в «Новом литературном обозрении» и «Независимой газете». По-немецки некоторые из нижеследующих текстов появились в журналах «Lettre international», «Via regia», «Du» и в газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Глава «Ненадежный рай. Об учителе» впервые вышла в свет как предисловие к изданию: Dmitri S. Lichatschow, «Hunger und Terror» (Ostfildern vor Stuttgart, 1997). Я благодарен Борису Гройсу и Владимиру Сорокину за то, что они разрешили мне включить их высказывания в мою книжку. Спасибо Наташе Зандер и Лоре Шлотхауэр, которые помогли мне с перепечаткой! С. И. Шаповал не пожалел своего времени для того, чтобы расшифровать магнитофонную запись беседы между Сорокиным и мной. Я очень признателен Вам за это, Сережа! Еще одна благодарность — Татьяне Руди и Евгению Водолазкину, которые первыми окинули критическим взглядом эту книжку во всем ее объеме.

# **I. СТАРШИЕ**

## 1. НЕНАДЕЖНЫЙ РАЙ. ОБ УЧИТЕЛЕ

Ища себе духовного наставника, мы отказываемся от биологического родства. Парадокс этой «слишком человеческой» ситуации посвящения состоит в том, что «recipient of advice» ввергает найденного им руководителя в тяжелое искушение и в конфликт с самим собой, что я понял, когда превратился на старости лет из восторженного ученика в сдержанного учителя: власть, которую молодежь предлагает старшим, идя в послушание, обманчива, не зиждется на плоти, на продолжении рода, лишь интеллектуальна, химерна. Выбранный в учителя с неизбежностью подозревает вокруг себя измену. Воистину: отрекшийся от семьи и есть предатель в чистейшем виде. С темы дезертирства послушника начал свой диалог «Учитель и ученик» (1912) Хлебников: «Учитель. Правда ли, ты кое-что сделал? Ученик: Да, учитель. Вот почему я не так прилежно посещаю твои уроки». Дмитрий Сергеевич Лихачев (я буду именовать его в дальнейшем так, как его называют между собой за глаза близкие ему люди: «ДеЭс») однажды заявил (дело было в Минске на научной конференции в конце 70-х гг.), что он не считает меня своим учеником (почему-то он назвал тогда моим учителем В. Я. Проппа, но я не был его студентом). Для меня, однако, нет другого учителя, кроме ДеЭса. Еще один парадокс посвящения заключен в том, что как бы ученик ни удалялся идейно от учителя, он остается — как личность — верным ему по той простой причине, что дальнейшей альтернативы небиологическому отцу не существует, сколько бы мы ни меняли профессию. О дурной бесконечности таких смен писал Пастернак в «Охранной грамоте». Читатели будут иметь дело с таким автором текста, для которого в англо-американском литературоведении имеется точный эпитет: «unreliable».

В этой ненадежности есть, впрочем, свой резон. Потому что о ней и пойдет речь. На ненадежного автора, ведущего разговор о ненадежности, можно положиться. Поколение, которое сформировалось во второй половине 1920-х и в 30-е гг. было идеологически разношерстным. Тем не менее у этого поколения есть общий знаменатель. Люди второго

авангарда были объединены ощущением шаткости бытия. Это ощущение выразилось у Хайдеггера в понятии «заботы» («*Sein und Zeit*», 1927); у Адорно и Хоркхаймера («*Dialektik der Aufklärung*», 1944) — в разочаровании в идеалах Просвещения, которое с их точки зрения привело к тоталитарному падению человечества; у Юнгера («*Der Arbeiter*», 1932) — в предпочтении, отданном им носителю судьбоносного начала, рабочему, презирающему буржуазный уют; у Плесснера («*Macht und menschliche Natur*», 1931) и К. Шмитта («*Der Begriff des Politischen*», 1932) — в идее врага, без которого мы не можем обойтись, будучи политическими животными; у Гелена («*Der Mensch*», 1940) — в представлении о том, что *homo sapiens* всегда готов пожертвовать своими текущими интересами. С Юнгером переключается такой мыслитель 30-х гг. как Кайуа, который напишет после конца Второй мировой войны книгу («*Les Jeux et les Hommes*», 1958) о том, что только человеку — в отличие от животных — свойственна игра (*alea*), пытающая его удачу, его судьбу. Близкий к Кайуа Батай был увлечен мыслями о том, что производство товаров неразрывно связано с производством отходов и что Эрос требует от его субъекта дионисийского самозабвения и самоотказа. Сюрреалистическая живопись с ее верностью деталям показывала зрителям реальность, доступную для мимезиса, как обманывающую их. Селин поведал в романе «Смерть в кредит» (1936) о крахе любой личной инициативы. Апологетизируя бытие-в-себе, Сартр отрицал инобытие, т. е. надежду как таковую («*L'Être et le néant*», 1944). Позднее Камю изобразил революцию в виде абсурда, но не найдет никакой альтернативы для нее («*L'Homme révolté*», 1951). Лакан альсвятил свои интеллектуальные усилия доказательству того, что мы — уже при пробуждении сознания — дефицитарны. Сказанное было бы нетрудно распространить за Ла Манш и за океан. Моррис («*Foundations of the Theory of Sings*», 1938) задумал семиотику как средство освобождения человека, бьющегося в сплетенной им самим «паутине слов». Как науку о неверном замещении. Параноидальный роман Оруэлла пугал его читателей фигурой всезнающего Большого Брата («1984», 1949). Но в рамках данной главы желательно не забыть соотечественников. Те русские эмигранты, для которых 30-е гг. стали их временем, считали, что жизнь не удваиваема, что нет запасной жизни. В романе «Отчаяние» (1934) Набоков вывел героя, который ошибся, предположив, что у него есть двойник, под чьим именем можно было бы испытать второе рождение. Оставшемуся на родине и сосланному из Ленинграда в Казахстан Бахтину хотелось подорвать

серьезный мир карнавальской культурой — если уж и удвоением бытия, то карикатурным («Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса», 1940). Германия и Россия выстроили на ненадежности государственную политику: первая — затеяв войну с большей частью света, вторая — направив войну меньшинства (собственно, одиночки, Сталина, безжалостно и, надо сказать, справедливо губившего даже свое охвостье) с большинством вовнутрь, сделав граждан жертвами Великого террора.

Поступок, каковой повел ДеЭса по островам Соловецкого ада, обустроенным монахами, которые возвели там монастырь (XV в.) не без утопически-грешной мысли о земном рае, ими почти достигнутом, и превращенным чекистами в место наказания для тех, кто не верил в социалистическую утопию, так и не состоявшуюся, мог бы показаться чистым мальчишеством, если бы он не был продуктом сознания, учреждавшего ненадежность в качестве шаткого основания для нового типа поведения, резко отличавшегося от символистской и фугуристической театрализации бытия. ДеЭс всегда с восторгом отзывался о внедрении театральности в повседневность предреволюционного Петербурга, но сам не принадлежал к этой культуре. Читка доклада о заслугах дореволюционной орфографии была жестом, который обрекал докладчика на концлагерь. Война с государством из-за фиты, ятя и ера может показаться современному читателю странным занятием. Кому ныне придет в голову защищать от гибели буквы, рискуя собственной жизнью? У письма объявились теперь новые защитники, которые жертвуют не собой, но субъектом как таковым, человеком (Деррида). Организация алфавита принципиально произвольна, не обусловлена естественным образом. Порядок алфавита как бы потусторонен чувственно воспринимаемому миру, что тематизировала «Азбучная молитва» (IX—X вв.), стоявшая у начала восточно-славянской поэзии. В этом смысле буквоедство ДеЭса было протестом против *juris naturalis*, т. е. против кулачного права.

ДеЭс в юности нашел ту роль, которая требовала от актера «гибели всерьез», гибели актера. Под присмотром чекистских режиссеров ДеЭс принял место того раба, каковому, согласно Гегелю, предполагалось постичь Абсолютный Дух. Именно в 30-е гг. парижской модой стал русский философ А. Д. Кожевников (Kojève), толковавший студентам Сорбонны прежде всего то место из «Феноменологии Духа», которое было посвящено господину и его слуге. Охваченный тревогой своего времени, этот интерпретатор Гегеля внушал слушателям, что всякий человек, коль скоро он живет в смертельной тоске, — уже самоубийца.

ДеЭс вышел на свободу с научной статьей о мышлении уголовников, которое он, вооружившись новейшими тогда достижениями лингвистики и мифографии, обрисовал как реликтовое, первобытное. Только ли об уголовных преступниках писал ДеЭс? Первая его статья «Черты первобытного примитивизма воровской речи», ставшая доступной широкому читателю в 1935 г., представляется мне его тайной попыткой откликнуться на революцию.

Пришла пора сказать несколько слов о ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ — организации, пока недопонятой. Она не похожа ни на западную политическую разведку, ни на жандармскую службу царской России, хотя и унаследовала от голубых мундиров 3-го Отделения голубой цвет на кантах и погонах своей униформы. Разумеется, чекисты занимались тем же, чем и их коллеги на Западе, — выведыванием политических, военных, технологических и прочих секретов. Но этим они не ограничивались. Эта институция была создана как орудие (пролетарского) возмездия. Месть — негативный обмен, перекликающийся с установленным советским строем запретом на обмен в экономической области. Русская революция, презрев веру в эволюцию, исповедовавшуюся прогрессистской культурой второй половины XIX в., и особенно умеренными народниками, против которых выступил Ленин, вернулась к *status naturalis* в понимании Локка, к глубоко архаичному праву на кровную месть, перекрашенную вначале в классовую, а затем потерявшую всякий идеологический оттенок и ставшую местью как таковой. Тот, в ком струилась кровь старинного рода, стал кандидатом в заложники, позднее — лишенцем. Воздавая злом за зло, человек, посвятивший себя кровной мести, обращен лицом не к будущему, а к прошлому, — утверждал Шопенгауэр. На будущее, — продолжал он, — нацелен закон, устанавливаемый, дабы предотвратить преступление. Вендетту нельзя легитимировать в конституции — даже тоталитарного режима. Между вором, копавшим канал от Белого моря в сторону Ладоги и в обратном направлении, и наблюдающим за ним чекистом не было принципиальной разницы. Чрезвычайка, как и все ее позднейшие филиации, была незаконной (против чего поднял свой голос уже в 1918 г. старый большевик М. С. Ольминский).

О революционной первобытности и сочинил свою первую работу ДеЭс. Превращение кровной мести в государственную проблему породило тоталитаризм (имеется в виду: и немецкий). Однажды побывавший в концлагере, ДеЭс не был оставлен вниманием пославшего его туда учреждения и позднее, когда он стал после войны действительным членом

Академии наук и признанным главой русской медиевистики. В середине 70-х гг. в Ленинградском университете состоялась конференция, посвященная «Слову о полку Игореве». ДеЭс выступил на конференции с докладом. Через несколько дней я узнал, что эта речь была произнесена человеком, которому за несколько часов до того напавший на него в подъезде его дома неизвестный сломал два ребра. За этим последовали: попытка поджога квартиры ДеЭса, надуманный процесс над его зятем, одареннейшим океанологом Сергеем Зилитинкевичем, эмиграция внучки ДеЭса. Один, тогда молодой, инженер (повременим пока раскрывать имена) нашел в телефонной трубке ДеЭса подслушивающее устройство. Сотрудникам ДеЭса нередко приходилось общаться с ним в его кабинете на службе, переписываясь. Бумажки тут же уничтожались.

Считается, что КГБ донимал пожилого ученого за то, что он снабдил Солженицына, писавшего «Архипелаг Гулаг», сведениями о Соловецком лагере. (В «Архипелаге» ДеЭс не назван по имени, но все же ссылка Солженицына на него легко (слишком легко) расшифровывается). Можно также предположить, что рвавшийся к власти глава КГБ Андропов пытался, мучая ДеЭса, скомпрометировать своего конкурента в Политбюро, ленинградского царька Романова, тем, что выставлял Ленинград как город, где измываются над большим ученым. Как бы ни были приемлемы эти объяснения гонений, которым подвергся ДеЭс во второй половине 70-х и в 80-е гг. (ему запрещалось, добавлю к сказанному, выезжать на Запад — разрешена была лишь однажды поездка в Болгарию), мне бы хотелось обратить внимание читателей на иррациональную и никак не доказуемую, но все же маящую мне в виде объяснения в последней инстанции сторону всей этой истории: учреждению по осуществлению государственного возмездия хотелось домстить старому каторжанину, ускользнувшему от смерти.

Вот как ответил ДеЭс на свалившиеся на него на старости лет несчастья: он написал книгу о садах, о Природе, преобразованной в Рай. Ленинградцы окрестили то место возле Невы, где расположилась советская охранка, «Большим домом». В одной из газетных статей брежневского времени о том, как нужно застраивать Ленинград, ДеЭс обронил: не следовало бы возводить на набережной Невы высокие дома. Книгу о садах я читал так: их дом — мой сад. Дом — символ надежности. Но есть нечто, что дороже, чем он, для человека, которому нужно не только укрытие от природы, но и пространство эстетической работы с ней, — сад. О ненадежности сада много писал Чехов — в «Черном

монахе» и в других произведениях. Образцом служил ему библейский рассказ о грехопадении, о саде, в котором рождается смерть. Медиаторы между Культурой и Природой всегда сакрализировались человеком, но никогда не вызывали у него слишком большого доверия к себе. Мне кажется, что Леви-Стросс сделал их главным предметом своих этнологических размышлений постольку, поскольку он принадлежит к поколению 30-х гг. Предстоящую муку смертного часа Христос испытал в саду — в Гефсиманском.

Приведу еще одну историю из 70-х гг. Одному из сотрудников ДеЭса грозило заключение по политическим мотивам. ДеЭс пошел на прием к значительному лицу, которое носило ту же фамилию, что и русские цари трех, предшествовавших нынешнему, столетий. Новый Романов был милостив. Сотрудник избежал репрессий. Если какому-нибудь библиографу попадется на глаза тогдашняя статья ДеЭса, появившаяся в «Ленинградской правде», пусть он учтет, что две цитаты из речи Брежнева в ней были ценой, заплаченной ее автором за свободу молодого ученого. Во второй главе «Послания к филиппийцам» Апостол Павел писал: «Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек». Когда я думаю об учителе, я всегда вспоминаю эти новозаветные слова о кенозисе.

В те же трудные годы, может быть, более тяжелые для ДеЭса, чем времена Соловков, он написал статью «О русском», опубликованную в «Новом мире». Мне хорошо известно, что многим не нравится положенная в ее основу идея доброго русского человека, запальчиво опровергающая Достоевского, которому Россия виделась бездной, над чьим краем ведется борьба между Добром и Злом. Зная себя, я не разделяю утверждений ДеЭса, сформулированных в этой работе. Но в отличие от некоторых моих друзей я не собираюсь довольствоваться простым неприятием этого текста. Он был проповедническим педагогическим жестом, идеализирующим адресатов с целью образумить их в пору безвременья, когда на место вопроса «что выбирать?» приходит сомнение в том, что выбор (всегда совершающийся ради времени) вообще существует. ДеЭс понял роль учителя так же, как задолго до него Блаженный Августин в «De magistro». Внешний авторитет для обоих не имел бы смысла, не открывая он тем, к кому он обращен, таящейся в них возможности благовластвовать над самими собой.

И тогда же, в брежневские годы, ДеЭс начал обдумывать мемуары. На одном из заседаний ленинградских медиевистов он неожиданно для его участников разразился рас-

сказом о том, как он работал корректором в издательстве после выхода из лагеря. Речь шла о литерях, о наборе. О свинце и смерти, о пулях и профзаболеваниях печатников. Соловки ничему не научили академика, попавшего туда из-за того, что он любил буквы, сколько бы губительной пулевой энергии в них ни было. Воспоминания ДеЭса были отстаиванием прав личности, которую во второй раз собиралось покарать государство. Человек, переваливший с третью желудка за девяносто лет, не потерявший и в старости, в отличие от большинства, творческой энергии, одолел своего врага.

Когда много лет спустя мемуары увидели свет (1995), меня более всего поразили их блокадные главы — но не содержащимися в них описаниями истлевающей живой и неживой материи, пусть и преисполненными необычайной силой воздействия на читателей, а сопровождающими эту документацию размышлениями ДеЭса. Одним из их предметов был каннибализм. Людоедов, питавшихся мертвечиной, ДеЭс не осуждал. Я не мог взять в толк, откуда явился здесь у ДеЭса вовсе не свойственный ему прагматизм, от которого мне было (мороз по коже) не по себе, пока не узнал из одной статьи (К. А. Богданова) о том, что и античные философы-скептики придерживались того же мнения. Мой учитель, о чем бы он ни высказывался, пребывает в философской традиции. Как и любимый нами обоими Пастернак. Философия — не благо. Но чтобы принадлежать мировой истории, каковая есть европейский замысел, нужно быть философичным.

Чтобы закруглить тему мести, нужно рассказать о годах сомнительной гласности. Семья Горбачевых, совершая дворцовый переворот, обратилась за помощью к ДеЭсу. Выступление ДеЭса по телевидению в начале перестройки стало одной из самых достойных ее страниц. Мстительная организация и тут не оставила ДеЭса своим вниманием. Когда Горбачев приехал в Ленинград на встречу с местными партийцами, он пригласил на нее и ДеЭса. Беспартийного ученого не сразу впустили в Смольный, куда вход был разрешен лишь тем, кто мог предъявить красную партийную книжку. Пробив заграду, слегка запоздавший к началу доклада ДеЭс занял место в последних рядах. После того как Горбачев произнес речь перед своими партийными товарищами, он, нарушая церемонию, двинулся туда, где сидел ДеЭс, чтобы показать им, кого он ценит по-настоящему. На следующее утро ДеЭсу позвонили из академической больницы, к которой он был приписан. Когда он пришел туда, он попал в кабинет к психиатру, который на его удивленный вопрос по поводу этого вызова ответил, что ему хотелось бы обследо-

вать человека, сорвавшего в припадке безумия такое важное мероприятие, как проведение городского партийного собрания. Я живо представляю себе настойчивые удары, которые врач наносил своим молоточком по голубым старческим коленкам, послушно реагировавшим на них. Времена помягчали, и психиатрическое преследование инакомыслящих превратилось в скромный намек молоточком на таковое. Фамилии генералов, возглавлявших ленинградский КГБ в те годы, когда на ДеЭса обрушились вторичные гонения, — Носырев и Блеер. Мне было бы жаль, если б эта бравая пара незаслуженно почил в безвестности, гарантированной им текущей борьбой за капитализм, у которого в России не было большого прошлого и у которого поэтому короткая память.

В день путча, последовавшего за перестройкой, ДеЭс собрался на Дворцовую площадь, чтобы высказаться против гекачепистов на митинге. Путь до Дворцовой оказался сложнее, чем предполагалось, — исчез шофер академика. Он объявился лишь после того, как политические страсти улеглись, объяснив свое отсутствие особо высокой опасностью, которой он подвергался все эти дни. «Шоферов, — подытожил он свои исторические знания, — берут первыми». Говорят, ДеЭс отнесся к этому заявлению с полным сочувствием. Во всяком случае, дружба академика с человеком, отдающим себе отчет в том, сколь рискованна его профессия, ничем не омрачилась, несмотря на их временную разлуку.

Что значит переживать зыбкость бытия? Это настроение рисуется мне одной из важных предпосылок философического взгляда на вещи. Мир видится неустойчивым, когда берется в целом. У схватывающего его так сознания нет спасительной альтернативы тому, что помыслилось. Большинство не распознает за деревьями леса, думает половинчато, фиксируется на синекдохах, потому что индивид способен представить себе целое только вместе со своей смертью. Конечно, и это большинство ведает, что такое целое, но бежит его в напрасном стремлении уютно устроить жизнь, в комфортабельном нежелании предвидений. Что же касается дезовского шофера Жеки, то он обнаружил задатки стратега. И еще — преданность ДеЭсу: прячась, Жека не только спасал свою шкуру, но и заранее отказывался давать показания против хозяина.

Ленинграду не повезло с революцией, которая разыгралась в нем. Голод времен гражданской войны сменился высылкой из города многих тысяч дворян, предпринятой бывшим литературным критиком, ставшим преданным сталинцем, Кировым, который намеревался сделать вверенный ему в подчинение город образцово пролетарским. Вслед за этим

разыгралось истребление кировцев, когда их трибун был убит при туманных обстоятельствах его сексуальным соперником. Расстрелы поэтов (я имею в виду Каннегисера и Гумилева) начались не в Москве. Кронштадтский мятеж, который был подавлен Троцким, не щадившим при этом ни своих, ни чужих, умножил жертвы послереволюционного голода матросами-анархистами и красноармейцами. Увенчанное Горбачевым самоистребление советской власти началось на обледеневшем Финском заливе. Мне тяжело писать слово «блокада». Мои родственники по отцовской линии до единого умерли от голода. Я так и не познакомился с ними. В 40-е гг. Сталин добавил ко всему этому ликвидацию и послекировской ленинградской партийной верхушки. Хрущев, реабилитировавший ленинградский партаппарат, не нашел ничего лучшего, как устроить на берегах Невы судилище над Абакумовым и его подручными, выковавшими «ленинградское дело», но вряд ли принципиально отличавшимися от ждановского окружения. Впрочем, эта политическая казнь была последней в Ленинграде. Есть трагические города XX в.: Варшава, с ее двумя восстаниями — в гетто и при подходе советских войск, Дрезден, Хиросима, Нагасаки. Но только в Ленинграде трагедия приняла циклически-непрерывный характер. На свете нет другого места, где страдание стало бы каждодневной историей. Когда я четырехлетним мальчиком вернулся из эвакуации в послеблокадный Ленинград, война еще не кончилась. Мне пришлось подождать некоторое время до тех пор, пока человеческие лица как массовое явление, как лица из толпы перестали меня удивлять. Первыми такими стали лица немецких военнопленных, ежедневно маршировавших в колоннах по Загородному проспекту туда, где им предназначалось восстанавливать разрушенный город. Сердобольные бабы бросали им какую-то пищу в узелках. В том, что немецкие военнопленные возрождали немецкую столицу России, была своя закономерность. Русских как массу в то время в Ленинграде я как-то не припомню. Когда моя бабушка приводила меня в сад, мне было не с кем там играть.

ДеЭс, родившийся в Петербурге в 1906 г., как никто другой отразил собой его дух, сделавшись его *genius loci* — не просто в роли немало повидавшего очевидца, а в иной — не пошлой. Не так давно в Мюнхене он сказал мне: «Игорь Павлович, я никогда не предполагал, что проведу большую часть моей жизни стариком». Когда я вдумываюсь в эти слова, я понимаю, что мне было сообщено о страдании — о растянувшемся на значительную часть жизни ожидании смерти. Отношение к бытию как к ненадежному было вея-

нием времени, чувством поколения, разочаровавшегося в усилиях раннего аванграда начать заново историю культуры. Ленинград был пространством, в высшей степени подходящим для того, чтобы испытать это чувство и подтвердить испытывающего его в его интуиции. Именно в Ленинграде возникло Объединение реального искусства, учредители которого, Константин Вагинов, Николай Заболоцкий, Даниил Хармс, Александр Введенский и др., сделали абсурд своей главной темой. С одним из этих писателей, Введенским, ДеЭс учился вместе в школе. Я позволю себе привести отрывок из разговоров, которые велись в 1933—34 гг. в кругу бывших обэриутов. «Что в общем произошло? — спрашивал своих друзей философ Леонид Липавский. — Большое обнищание, и цинизм, и потеря прочности. Это неприятно. Но прочность, честь и привязанность, которые были раньше, несмотря на какую-то скрытую в них правильность, все же мешали глядеть прямо на мир. Они были несерьезны для нас [...] И когда пришло разоренье, оно помогло избавиться от самообмана». ДеЭс — *genius* такого города, где нет самообмана, внешней формы, фасадов, — обнищавшего до своей сущности.

Катарсис в том трясином месте, которое было замощено Петром Великим, и в том бесчеловечном времени, которое оказалось расплатой за наивное ожидание классическим авангардом счастливого будущего, ДеЭс нашел в занятии древнерусской (допетровской) культурой. NN, вместе с которым я работал в Секторе древнерусской литературы Пушкинского Дома под руководством ДеЭса, однажды заметил мне: «Не будь советской власти, Лихачев стал бы канцлером». Не стал бы! Человек, о котором идет здесь речь, никогда не был государственным, в противовес всем тем русским мыслителям, К. П. Победоносцеву, К. Н. Леонтьеву, П. И. Новгородцеву, И. А. Ильину, Л. В. Тихомирову, которых напугал анархизм высшей аристократии — бакунинский, кропоткинский, толстовский. ДеЭс обратился в своих исследованиях к эпохе Киевской Руси, к разрушению этой культуры в результате татаро-монгольского нашествия и к ее — деформировавшему ее — возрождению, начатому московскими империалистами на исходе XIV в., думаю, по той причине, что он искал альтернативу «сталинокрации» (словцо Г. П. Федотова) и нашел ее в раннесредневековом союзе городов и земель, о котором он писал так: русские князья младшей поры рассматривали правление страной как совместное владение. Самый притягательный для ДеЭса памятник древнерусской литературы — цикл текстов о разорении Рязани Батыем, о том, как рай приходит к концу.

Между прочим, это первое произведение в русской словесности, которое оправдывает самоубийство. На ступеньках лестницы, ведущей в Сектор древнерусской литературы, ДеЭс сказал мне и NN, отдыхая от подъяема, что считает своей главной книгой «Текстологию» (1962). Это была действительно великая книга, воспитавшая несколько поколений русских медиевистов, научившая их приемам работы с древнерусскими рукописями. Но все же так ДеЭс никогда не был только ученым, только специалистом по средневековью, только книжным червем. Наука как средоточие знания тесна для него. «Ученый, — по его устному определению, — не тот, кто знает, а тот, кто понимает». Это наставление ДеЭса пришло ко мне извне, чтобы стать моим психическим нутром. Общий смысл многочисленных книг ДеЭса, касающихся древнерусской культуры в ее целом — от ее воинского искусства до литературы и живописи (и особенно самых замечательных: «Человек в литературе древней Руси» (1957), «Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого» (1962), «Поэтика древнерусской литературы» (1967) и «Развитие русской литературы X—XVII веков» (1973)), культурно-политический. ДеЭс противопоставил истории Петровской России, приведшей к ленинской революции и к сталинскому насилию даже над ней, другую историю, тоже не лишенную ужасов, но тем не менее могущую служить альтернативой той, по которой развилось русское государство разных Романовых. ДеЭс не впал при этом в славянофильское близорукое прославление всего допетровского скопом. В отличие от ностальгика, политик дифференцирует. Поколение 30-х гг. было политизированным. Почему? — на этот вопрос можно ответить, вспомнив Мандельштама, определившего политика как личность, которую побуждает к действию кризис.

Мой учитель элитарен. Суть элитарности состоит вовсе не в том, что элитарный человек обладает языком, недоступным массам, но как раз в том, что он знает два языка, один из которых понятен и им. Элитарность сродни искусству, доступному для сопереживания многим, но никому не дающемуся для исчерпывающего постижения. ДеЭс часто упрекал меня за то, что я пишу мои книги «птичьим языком». Мне свойственна та примитивная геллертерская убежденность, которой нет у ДеЭса: я надеюсь на то, что, как сложно бы я ни изъяснялся, к каким бы экзотическим терминам ни прибегал, я обращаюсь ко всем и каждому. О своих воспоминаниях ДеЭс промолвил: «Я старался писать их просто». Не считающий бытие надежным не верит и в читателя. Что ДеЭс владеет лагерным матерком, мало кто

знает. Когда я признался ему в том, что женюсь на немке и покидаю Россию, ДеЭс остро взглянул на меня и прокомментировал мое решение так: «Игорь Павлович, вам отобьют яйца». В первые годы перестройки ДеЭс издал пластинку, которая запечатлела его голос, читающий «Слово о полку Игореве». Что касается ударений, то это чтение было модернизировано и предназначено для непосвященных. Как до конца разгадать загадку, которую нам задал этот человек?

Остается сказать, что мои самые спокойные и светлые годы в Советском Союзе протекли в Секторе древнерусской литературы под защитой его руководителя. Тот, кто раз и навсегда решил, что бытие ненадежно, особенно печется о том, чтобы оно не стало катастрофой для близких. Я провел часть моей жизни под началом ДеЭса, в оберегаемом им Секторе, как у Христа за пазухой.

*Мюнхен*  
1996

## 2. ЧЕТЫРЕХГЛАЗЫЙ ФИЛОСОФ

Я собрался начать эти заметки о человеке, которому я почти каждое воскресенье звоню по телефону из Мюнхена в Лондон, с описания его косоглазия. Что-то встревожило меня при попытке осуществить это намерение. Моя интертекстуально натасканная память восстала против вполне естественной верности назревающего текста факту и направила меня к книжной полке, где я тут же нашел эссе, в котором прочитал о моем герое следующее: «...наш философ от рождения косоглаз. Кто-то скажет: „Бедняга“. Но сам он скорее всего ответит: „Это как посмотреть“» (Игорь Померанцев. Танец приближения. — В: И. П. По шкале Бофорта. *Urbt*, вып. 10, СПб., 1997, 113). Мне стало ясно, что мне не удастся перещеголять цитируемый образчик барочного остроумия, до которого и я большой охотник. Изучая, далее, еще одно сочинение, посвященное, как я ревниво констатировал, любимцу весьма значительной по объему массы интеллектуалов, я отдал должное постмодернистской оригинальной неоригинальности, обнаруженной мной в построении этого текста, в который упоминание о занимавшем меня физическом пороке было введено автором (Григорием Амелиным — он выпустил в свет «Избранные труды» перебравшегося в Лондон мыслителя на его родине, в Москве (1996, 10)) как бы невзначай, опосредованно — в отсылке к мемуарам Г. А. Лесскиса. Этот цирковой трюк, избавлявший сочинителя от необходимости самому сказать несколько слов о том, что вроде бы напрашивалось, вверг меня в болезненное сомнение насчет конкурентоспособности моих умственных сил. Какая-то из двух половин моего мозга, то ли фаллически-просвещенческая, то ли кастрированно-романтическая, стараясь переиграть другую, с услужливой подостью подсказала мне, что и Зиновий Зиник писал о недостатке зрения у того, о ком я задумал составить очерк. В отместку памяти я решил не тратить времени на поиск издания, где напечатался Зиник. Случившееся через несколько часов после этого волевого акта показало мне, что, по меньшей мере, одного врага — память — человек, с его якобы безграничными бойцовскими способностями, побе-

дять не в состоянии. Милейшая домработница Таня, убирая квартиру, выудила из-под кровати провалявшийся там несколько месяцев русскоязычный еженедельник с апокалиптическим названием. Что заставило меня начать торопливо пролистывать запылывшееся Откровение вместо того, чтобы сразу выкинуть его на помойку? Ответ обнаружился на одиннадцатой странице журнала («Итоги», 26 мая 1998), где Зиник, дабы впечатляющим образом передать особенности зрения нашего с ним общего друга, сконструировал простую, но эффектную мизансцену, в которой участвовали трое: «...когда в лондонской компании [...] он кричит через всю комнату: „Вы будете завтра на Русской службе Би-Би-Си?“ — отвечают сразу два человека из разных углов». У меня опустились руки. Из режиссеров я был уволен.

Я оказался перед выбором: уступить ли ловко сбитым претекстам, плюнув на действительность, заговоренную ими до того, что о ней более и говорить не стоит, или все же исполнить замысел вопреки тому, что он принадлежит не только мне. Осуществление второй из этих возможностей, рассудил я, не отгородит меня от живого человека, чей облик я намеревался воссоздать, пустым тщеславием, испытываемым владельцем всего лишь слова, и я остановился на ней.

Как только я оценил Wahrheit выше, чем Dichtung, Некто, явно сочувствующий авторам, которые пасуют при ведении интертекстуальной борьбы, будучи приверженными нелицеприятной правде, тут же вознаградил меня приемом, еще не упокоенном в том братском литературном склепе, где бок о бок улеглись: асупен, чужая речь и гальванизирующая повествование театрализация такого. «Обратись к читателю», — услышал я утешный Голос. Я внял благому совету.

Читатель, твою в Софию мать, стань моден — переселяйся-ка в виртуальное тело! Давай-давай, фрагментируй свою личность! Тебе ли, любителю киномонстров, страшиться всего лишь косоглазия? Значит так, дорогой (эти три слова цитируют, читатель, того, кому ты отныне обречен подражать): попробуй увидеть мир такими глазами, один из которых глядит вверх и вправо, а второй вниз и влево. Если ты смог это сделать, что, понимаю, не просто, то постарайся мысленно пуститься в путь по лондонским улицам, попади под напоминающее катафалк черное такси, которое ты из-за *limis oculis* проморгал, и очнись в больнице с переломанными ногами. Там, лежа на койке, с задранными вверх конечностями, которые ты когда-то считал нижними, ты должен задуматься над тем, что значит — видеть. Возможно, ты философски образован — и тогда тебе придет на ум исто-

рия первомудреца Фалеса, свалившегося — под дурацкий смешок какой-то фракийской тетехи — в воду, когда его взор приковали к себе звезды, еще не отчужденные Кантом от его нравственного человека. Будь у тебя нормальное зрение, ты заметил бы и кэб, и цистерну, куда плюхнулся Фалес. Но у тебя теперь четыре глаза. Ты более не интересуешься деталями обстающей тебя реальности, даже если они опасны для тебя. Твой кругозор расширился. Ты способен охватить взглядом универсум и с его тыльной стороны, которую похороненные Хайдеггером метафизики называли трансцендентной. А fortiori: кося, ты можешь заглянуть также вовнутрь себя. Что ты там обнаружишь, закручивая взгляд и отводя его от посюстороннего лакановского зеркала, — твое личное дело, но раз уж мы стали партнерами, позволь пожелать тебе, чтобы ты нашел, погрузившись в себя, некую мысль. Когда ты отдашь себе отчет в том, что твое приближение к трансцендентному (не обращаай внимания на то, что оно в моем неуклюжем изложении несколько напоминает жопу мира) и твоя рефлексия по поводу того, что ты являешься носителем идей, могут стоить тебе жизни и мужеской чести, ты узнаешь, почем фунт философского лиха.

Мы прервем, читатель, на время наш совместный труд. Мне приспичило предпринять экскурс в историю философии, никогда не оставлявшей без внимания видение. Оно представлялось философии дублированным. Платон требовал, чтобы мы не ограничивались лицезрением теней, отбрасываемых вещами, и рассматривали бы вещи такими, какие они суть. Кузанец (в «De beyllo») полагал, что нам следует делать наш опыт наглядным, раз мы сами наблюдаемы Творцом и, таким образом, видим с Ним. Декарт различал зрение и умозрение. Флоренский читал во ВХУТЕМАСе лекции о том, что живописец не только воспринимает цвета и контуры, но и образует из них наполненную смыслом схему, глядя туда, куда не в состоянии проникнуть беглый, касающийся лишь пестрых пятен и причудливых очертаний, взор. По Мерло-Понти («L'Oeil et l'Esprit»), художник и видит, и видит себя видимым, почему он оказывается в самой глубине бытия, за его передним планом — вместе с изображаемым им. И совсем недавно Жижек в «Метастазах наслаждения» определил взгляд как властвующий над объектами, которые при этом, однако, остаются недоступными для полного овладения ими («...да зуб неймет»). Согласно Жижек, вуайер захватывает мир, чтобы затем разочароваться в силе взгляда.

Читатель, я покончил с отступлением и снова — твой! Вот что я тебе скажу, my old fellow. Очетыреглазившись,

ты обрел без каких бы то ни было мозговых усилий то свойство, наличие которого у homo sapiens или, по меньшей мере, у избранных представителей сего рода так жаждала, не скупясь на умственные издержки, обнаружить европейская мудрость. Нет, я не утверждаю, что косоглазие — достаточное основание, чтобы стать философом. Но я все же настаиваю на том, что если ты, читатель, готов размахнуться до вселенских обобщений и при этом не можешь свести глаза в одну точку, то ты принадлежишь к высшему из факультетов вовсе не pro forma, — ты являешь собой мыслителя, так сказать, an sich. Философичность в данном случае не просто качество твоего интеллекта — она наличествует в твоём теле, которое желает узнать больше, чем дано недалекому прямому взгляду. Что ты, читатель, стал органическим философом, вовсе не гарантирует тебе обретения истины. Сартр, к примеру, был и косоглаз, и увлечен абстракциями. Что они были заведомо ложны, он даже не пытался скрыть, проповедуя партийность — зависящую от исторического момента неполноценность — философствования. Меня этот диалектический ход заведомого вруна завораживает. Тот, кого ты, читатель, я надеюсь, партиципировал, писал о Сартре: «...философом [...] он был по природе...» (выделено автором в: «Избранные труды», 137—138). С другой стороны, косоглазие превращает и не-философа в личность философской складки. Я имею в виду Якобсона. Еще я думаю сейчас о непонятно куда вперяющем взор Паше Пепперштейне, с которым тебе, читатель, когда-нибудь неизбежно предстоит познакомиться, если ты пока еще не ведаешь, кто он такой, а сам претендуешь на роль интеллектуала. Возможно, кроме *limis oculis*, существуют и иные предпосылки, в силу которых из нормального человека получается органический философ. Возможно, что они непременно телесного свойства. Но мне пока не до них.

Приготовься, искалеченный мною друг, пациент спятившего окулиста, вынести новую муку, образ которой уже давно брезжил в моей безжалостной подкорке. Откликаясь на зов многоочитого тела, ты будешь писать книгу. Ты назовешь ее «Символ и сознание». Ты издашь ее в Иерусалиме в 1982 г. У тебя будет тбилисский соавтор, далекий, слишком далекий, — и ты будешь иногда путать личные местоимения первого лица в единственном и множественном числе. Ты нетерпеливо спрашиваешь меня: «А где же обещанная пытка?» Отвечаю: перечитай, что у тебя получилось. Чтобы «работать» с «сознанием», его нужно «прекратить», — сформулировал ты (22 и след.), не пугаясь того, что оборванное сознание ничего не осознает. А вот что ты

сказал о символе, над которым ты ломал голову: «совершенно пустая оболочка» (84). «Нас не интересует, кто субъект, и что объект», — заметил ты (30), подчеркнув, что тебя вообще ничего гносеологически не тянет к себе. Ты сложил из отрицательных определений целую парадигму — ты поставил человека в кавычки (78), ты ввел в обиход категорию «состояние сознания», чтобы тут же объявить, что она «не содержательна по преимуществу» (64), ты обнаружил, что тебя окружает «сплошная и последовательная неклассифицируемость» (54), ты открыл, что «...язык некоторым образом ничего не обозначает» (113), и был вынужден на одном из этапов твоего аргументирования признаться, что тебе «трудно понять себя» (84). Еще бы!

Делез и Гваттари, разбираясь в том, «что такое философия?», и споря с Хайдеггером, когда-то поставившим тот же самый вопрос, утверждали, что она есть не поиск сущностного (а именно: «соответствия бытующего бытию»), как считал их предшественник, думая, впрочем, что это соответствие можно найти только в смерти, но выработка все новых и новых «понятий». От внимания французов странным образом ускользнуло то диалектическое обстоятельство, что сами они никакого нового понятия не породили, будучи погружены как раз в сущность одного очень старого — «философии», чей эссенциализм они взяли под сомнение. Всякий философский текст диалектичен (иногда невольно), потому что ко всякому целому ему хотелось бы присовокупить другое целое (ну, скажем, к «Sein» — «Sein zum Tode»). Иными словами, философия обнимает больше того, что для прочих дискурсов было бы их максимумом, нарушая разумное правило Козьмы Пруткова, которого те свято придерживаются. Философствование — искусство отказываться от первого взбредшего его субъекту на ум универалистского ображения. Поглумившись над тобой, читатель, я теперь в порыве диалектического милосердия облегчу твои страдания. Перечитай еще раз уже перечитанное. Своеобразие той диалектики, которая содержится в «Символе и сознании», состоит в том, что здесь философский текст самоснимается. С одной стороны, он как будто имеет в виду сознание, а с другой, — сообщает о том, что «текст [...] ничего не говорит о сознании» (38), не давая пощады, надо думать, и себе — тоже ведь тексту. Нет, право, читатель, не нужно было тебе совеститься, особенно если ты учтешь, что вся мировая философия так или иначе посвящена сознанию, а воз ее текстов и ныне там.

Тут мы с тобой, читатель, подобрались к самому для нас главному. Не текст важен для нас, а его создатель. Мне

скоро придется, читатель, увы, расстаться с тобой. Чую разлуку. Но пока мы не завершили диалог, я приведу тебе еще одно суждение твоего alter ego: «...философский текст [...] включает в себя интенцию какого-то внетекстового добавления» (я вернулся к «Избранным трудам» (274), чтобы в дальнейшем цитировать уже только их, не умножая наличествующие там подчеркивания моими собственными). Победительный противовес кип бумаги — тот, не будь которого, она бы не изготовлялась. Смерть автора, провозглашенная Бартом и Фуко, означает для меня, что он не может жить в своих произведениях потому только, что он живее их. Когда же общаться с ним без письменного опосредования, как не по воскресеньям? В одной ранней своей статье ее четырехглазый создатель возвел все тексты к эпитафиям. В той веренице негативных высказываний, которую я извлек выше из «Символа и сознания», я усматриваю кару, которой был подвергнут текст. Сартр лгал в сочиненном им, допуская, что раз он философ in cogito, то ему позволено все, как одному русскому лакею, брэнчавшему по вечерам на гитаре (нет, не Достоевского я цитирую, а Набокова, назло невзлюбившему того Сартру). За «Символом и сознанием» стоит личность, которая, как бы ни требовала от нее этого культура, не способна выразить свое косоглазое видение действительности в словах. Голос, посоветовавший мне ангажировать читателя, толкнул меня на дурной путь. Прощай, текстоед! Пострадал, испытал катарсис — и будет с тебя! И нечего, козел, проситься назад, в наш мимолежный союз. Мы с тобой, чай, мужеложеским браком не сочетались.

\* \* \*

Однажды Фуко, позванный на беседу в газету «Le Monde», пришел туда в полумаске, дабы продемонстрировать, что его философская мысль всеобща, ибо анонимна. В интервью не попала та фраза, которой встретил Фуко журналист и которую я даю в весьма приблизительном переводе. «Ты, что, Мишель, — сказал интервьюер, — полностью ополоумел?» Как Фуко — себя, я постарался закамouflировать философа, о котором веду речь. Знаю, что из этого, как и у Фуко, у меня ничего не вышло. Всем все ясно. Под лондонским мыслителем подразумевался Александр Моисеевич Пятигорский.

Впервые я увидел Сашу в начале семидесятых в ленинградском Союзе писателей, куда его пригласили вместе с Борисом Андреевичем Успенским. Состав ленинградских писателей, пришедших на свидание с московскими семиотика-

ми, был пестрым. Отчасти это были питерские интеллигенты, составлявшие в той темной массе, которая порождала русское печатное слово, меньшинство, но не подавленное, а напротив, крайне беспокойное. Оно и затеяло вечер. Тут же был один из недобитых в сороковых лукачанцев, сильно прибздевших после того, как им не удалось перетянуть сталинизм на свою сторону, и предававших по этой причине всех без разбору. К питерской интеллигенции примешался и когдатошний аспирант, громивший в незабытой им молодости космополитов, а ныне переквалифицировавшийся в хроникеры северных новгородских колоний. И, наконец, среди собравшихся затесалось несколько человек разного возраста, считавших семиотическое мероприятие отсрочкой (*différance*, как сказал бы Деррида) похода в буфет, — между ними я и мои друзья. Открыл вечер Саша, за ним выступил Борис Андреевич.

Я начну с последнего. Он вещал голосом, напоминавшем по звуку скрип медленно падающей пожилой сосны, не устоявшей против того порыва ветра, который, поблуждав меж достойно противившихся ему деревьев, дошел ослабленным до глубины бора, где все же наткнулся на свою жертву. Битый час Борис Андреевич докладывал об истории буквы «г» в русском правописании. Что такое эпатаж, я знаю. Я изучал футуризм и обэриутов. Я и сам иногда бросаю вызов аудитории. Как эксперт по раздражению публики в ее прошлом и настоящем я компетентно заявляю, что хамство Бориса Андреевича было беспрецедентным, потому что оно не было откровенным, а рядилось в тогда еще пристойный сциентизм. Дмитрий Сергеевич украдкой, чтобы не обидеть семиотику, смахнул с лица зевок. Георгий Михайлович обернулся ко мне с укоризной, как если бы именно на мне лежала ответственность за развитие докатившейся до буквоедства русской мысли не по Гегелю и Лукачу. Постаревший лишь лицом бывший аспирант ерзал на стуле и рвался в бой, в котором он не добил Змея из «Исторических корней волшебной сказки». Валера Попов неожиданно удалился с лекции и, вернувшись в помещение, где она происходила, влил в меня без лишних слов стакан вина. Та оплеуха, которую Борис Андреевич закатил ленинградской писательской организации, еще ни разу не пылала на ее многожды битом лице.

До того, как Борис Андреевич испытал скучной наукой терпение аудитории, жадной до сенсаций, Саша рассказал нам о некоторых психологических экспериментах, проводившихся на Западе. В ежовском застенке я, может быть, и восстановил бы в деталях то, что излагал Саша. Но поскольку

ку в данный момент меня никто к этому не принуждает посредством физического насилия, я замечу, что не в них суть, и сообщу для протокола лишь следующее. Как сейчас вижу: по сцене мечется некто, похожий на облысевшего в клетке бенгальского тигра. Что он, несмотря на растрату энергии, вроде бы без остатка пошедшей на безумную двигательную деятельность, еще и говорит, выглядит незабываемым чудом. Он сорвал с себя галстук. Валера, возбужденно предвкушая продолжение стриптиза, больно толкает меня локтем в бок. Творец пекашинской летописи целомудренно отводит деревенские очи от сцены, предоставленной бесстыдному космополиту. Георгий Михайлович пытается нащупать на шее галстук и не найдя аксессуара, разумно не носимого им с младогегельянских (вернее, гегелемладых) лет, быстро застегивает верхнюю пуговицу рубашки. Дмитрий Сергеевич старается не бегать глазами за бегающим Сашей, чтобы ухватить его мысль.

Если Борис Андреевич вероломно обманул ожидания писательского союза, то Саша вообще вряд ли взял в расчет, что таковые имеются. Он ни объединялся со слушателями, ни противопоставлял себя им. То отношение, в котором оратор находился с нами, пока не известно логике. Он говорил с нами, но и не с нами. С собой и не с собой. Он также не дал нам — в презрительно-льстивой форме — понять, что мы для него — часть человечества, которому он себя адресует. К кому он в конце концов обращается, принципиально нельзя было установить. Философы по натуре — те, что не основывают академий, не преследуют цель просветить темных современников, не завещают своих слов потомкам и т. п. Для рече- и смыслопроизводства этим философам не нужна определенная позиция. Мелькая то в одном, то в другом углу подмостков, Саша показывал нам, что у него нет никакого «здесь». Он был тем, что он есть, а не там, где он был. В статье «В сторону Глюксмана» Саша писал: «Быть убедительным — главное качество актера. Актер не может быть философом: ему верят» (135). Добавлю от себя: в органического философа не верят, как в лицедея, с ним — бывают, если случается. Что Глюксман — актер, Саша выводил из того, что у автора «Кухарки и людоеда» «...не хватало сил „порвать с историей“» (140). Т. е. с тем «здесь» — сунуть я снова в чужие соображения, — где селится «сейчас». Итак, занимать позицию и разыгрывать роль, теряя естественность разума, приходится тому, кто зависит от истории. Сам Саша, будучи безместным, не раз набрасывался с матерной бранью на историю, никак, впрочем, на оскорбления не реагиовавшую и продолжавшую

свой безрассудный труд. Кое-кто решит, что Саша ощущает себя оказавшимся по ту сторону истории — там, где, начиная с пятидесятих, обосновались очень многие его западные коллеги. Они — кто с печалью, а кто с торжеством — обнаружили, что наступила эра «постистории» (это словечко пустили в широкий оборот в США Сейденберг и Мамфорд, а в Германии Гелен); они же — вслед Кожеву — утверждали, что истории вообще более нет и что мы, стало быть, не в новой эпохе, а неизвестно где; наиболее умеренные из них ограничились (по примеру, поданному Коллингвудом) доказыванием того, что обессилела лишь всегдашняя спутница истории — занятая ею наука, которая тешила себя надеждой найти непредвзятый подход к фактам прошлого попусту, раз она передавала их по неизбежности в повествованиях, имеющих свои внутренние законы. Нет, отприродный философ не переходит из истории в ее иное, что может быть только по сердцу самой истории — иному, замещающему данное. Он вне ее, потому что она для него, не имеющего позиции, попросту беспредметна. Он и поносит ее по этой же причине: разве что магическое матерное слово и способно заклясть ее и обратить в наличность. Глюксману, чтобы слегка образумиться, следовало бы «порвать с историей». Философствующий же естественным образом, напротив, озабочен тем, как в нее попасть: «...наша задача состоит в том [...] чтобы *войти в историю*» (340), — сочувственно процитировал Саша в одном из своих интервью фразу Мамардашвили. Та ментальность, которая сложилась после Второй мировой войны и из которой вылез так называемый постмодернизм, у Саши вывернута наизнанку. Он как будто принадлежит ей, но она бы его не приняла. Одно из самых поразительных свойств органических философов, — быть не тем, чем является родственный им идейный контекст. Этим качеством относительно сталинской тоталитарной ментальности обладал и тяжело мучившийся ногами с детства Бахтин.

\* \* \*

Мы с Сашей познакомились в сентябре 1981 г. в Венеции, участвуя в конференции, которую тамошняя научная инквизиция посвятила Достоевскому. Саша прибыл на сборище, как он сказал, из Шотландии. Он не расставался с докторским, напоминавшем домик, чемоданчиком, несмотря на заметную увесистость этой ноши.

Почему-то меня сразу охватила жажда выяснить, что же там внутри. Книжки? Нет, Саша таскает два тома Розанова,

нужные ему для доклада, подмышкой. Догадка о том, что четырехглазый философ набил свой чемоданчик золотом, не озарила бы даже завязтого антисемита. Почти непристойное любопытство томило меня до тех пор, пока не случилось наводнение. Мы ужинали большой компанией в гостинице. Внезапно вода в лагуне поднялась, затопила нижний этаж нашей гостиницы и отрезала ресторан, где мы сидели, от номеров. Чтобы попасть в них, нам пришлось погружаться по грудь в прокатывавшиеся по помещению волны. Ефим Григорьевич Эткинд ринулся в воду, вздымая над головой свежеотпечатанную французскую паспортину. Саша — держа, как знамя, чемоданчик. Когда мы, не потеряв при переправе ни одного из докладчиков, добрались до моего номера, Саша разомкнул домик. Жестами я мог бы в два счета изобразить, как там было упаковано содержимое. Правой ладонью, поначалу приложенной к груди, я сделал бы от нее множество движений, одновременно и поступательных, и рубящих воздух сверху вниз. Левую же ладонь я обратил бы ребром к зрителям, поднял бы ее под сорокапятиградным углом и пришлепами повел бы на них чуть выше, чем орудовал правой. Затем я повторил бы обе манипуляции, зеркально поменяв положение рук. Перейти от «как» к «что» на языке жестов не всегда удается. И теперь я скажу так: чемоданчик был заполнен плоскими бутылками с шотландским лекарством, искусно уложенными в два яруса и четыре ряда таким экономным способом, что внутри вместилища не осталось ни малейшего свободного пространства. Нас с Сашей навсегда сблизила затянувшаяся за полночь совместная борьба с грозившей нам после купания простудой.

За многие годы дружбы с Сашей я не научился от него ничему, кроме как пить malt whisky, за что я ему низжайше благодарен, но чем в данном, как-никак философском, контексте можно пренебречь. Когда в молодости я поступил на нелегкую службу в Пушкинский Дом, в учреждение, в котором, работая там Деррида, стал бы он лучшим в мире комментатором Мамина-Сибиряка, я ловил всякое слово, доносившееся до гиблого места из Тарту. Но на поклон в чухонскую Каноссу я не отправился. Мне вполне хватало гнета советской филологии, и прибавлять к нему несвободу от школы, пусть и восторгавшей меня, я не собирался. За то, что я не стал тартуским школяром, я расплатился ошибками дилетантского свойства, но, застряв в самоучках, я выиграл неизмеримо больше, чем потерял: возможность вольно думать в дополнение к тому, что печаталось в «Трудах по знаковым системам» и в «Летних школах». Хотя я и не

был готов нести бремя групповой дисциплины, я всегда был открыт для того, чтобы извлечь урок из живого общения с семиотиками первого призыва, высшего разряда. Как я был открыт и для того, чтобы воспользоваться уроками Лихачева. В сторону Саши я был, что называется, весь нараспашку. Не тут-то было. И дело не в том, что у нас имелись разногласия, что для Саши философ — вне истории, а для меня соперничает ей на всем ее протяжении. Саша чувствует историю, может быть, острее, чем я. Мы оба равно заморожены ею, он извне истории, я изнутри ее. Мне было нечего перенять у Саши не по причине наших мнимых идейных распрей, по другой: органические философы не учат. Этим Саша отличается от всех связавших себя с Тарту, кого я знал. Какую, собственно, науку такие, как Саша, могут преподавать? Ту, что объясняет их присутствие в мире? Но такой отрасли знания пока еще нет. Сашина способность (как бы поточнее выразиться?) быть ученым, не пребывая в науке, не имеет ничего общего с антисциентизмом Бергсона, подхваченным Бердяевым. Саша не стремится обогатить *ratio* за счет *intuitio*. Он не гонится за мудростью, превосходящей самое себя. Саша есть ученое тело, которое чуждо интеллектуальным играм с их блудливой логикой, согласной совершить правильное умозаключение из любой всячины, каковую вы ей предложите, охотно подмахнуть, что бы вы в нее ни ввели. Критика фаллоцентризма ложна на первую треть придуманного ею слова. Поживиться из мыслительного опыта органического философа — значит: переселиться в его тело. Но я все-таки не мой читатель, на чью трагикозлиную морду я напялил Сашины глаза. Я не разделяю ценностных суждений моего времени, которому подавай — неавторитарность. Когда все говорят, что заблагорассудится каждому, то каждый отменяет всех, но ведь и все — каждого, так что остаются одни медиальные средства, которые, не ведая, что еще сболтнуть, подменяют акт высказывания картинками с места действия. Я признаю лишь неавторитарность вне стада, неавторитарность, дарованную избраннику, короче, Сашину.

\* \* \*

Представим себе летнее утро в Мюнхене. Я выхожу из дома, чтобы пройти пешком до университета. Через примерно триста шагов я вижу на рекламной тумбе рядом с плакатом, на котором аппетитная американка предлагает сигареты «West» осьминообразному космическому пришель-

цу, родное косоглазое лицо. Сашина голова увенчана чалмой, в которой сияет сказочный алмаз. На бензозаправке, мимо которой я шагаю дальше, стоит щит. Я снова встречаюсь с Сашей в чалме. На Мюнхенер Фрайхайт, где скопилось несколько кинотеатров, меня окружает толпа Саш. Город заклеен изображениями четырехглазого философа. Еще ни одному мудрецу не было оказано столько чести. Не стану врать, что я ощутил себя близким к белой горячке. Вчера я ничего не пил. И кроме того: в философах по естеству есть нечто сверхъестественное. Так что я всегда ожидал от Саши чего-то необычного, какого-нибудь коленца, от которого заходит ходуном мир. Не потеряв самообладания, я дотерпел до шести часов вечера, когда открываются кинотеатры. Фильм был о грузинской старухе, обосновавшейся во Франции, и ее приятеле, махарадже, прибывшем к ней из Индии. Махараджу убивали террористы. Имущество героини скупали японские предприниматели. Приглашение на роль индуса ярко выраженного еврея я не могу расценить иначе, как попытку режиссера убедить самого себя в том, что его кинолента, хотя и является поминальным плачем по кавказскому человеку, тем не менее не вдохновлена учениями Гобино и Чемберлена. Саше было поручено практически без слов (мало ли что он мог нагородить!) разыграть из себя существо, пусть экзотическое, однако, хорошо усвоившее джентльменские манеры бывших хозяев Индии, что актер исполнил с мастерством, выдававшим в нем воспитание, полученное в предвоенном московском дворике. Единственное, не вызывавшее сомнения в том, что передо мной был и впрямь махараджа, был безукоризненно пошитый белый кафтан, достававший Саше до колен и очень ему шедший. К сожалению, собственником этого исключительно дорогого наряда Саша не стал: кафтан был выгодно продан киностудией в Индию.

Так что ты там, Саша, писал об актерах и философах? Начитался, небось, Шопенгауэра, который их тоже противопоставлял, а в жизни-то принял роль. Шутка! — как говаривал Бродский, когда хамил. Я не собираюсь ловить тебя, мой дорогой, на противоречии между словом и делом. Поверить в то, что ты махараджа, было нельзя, несмотря на твое индологическое образование. Ты был неубедителен. Актера из тебя не вышло — и хорошо! Но я не о твоём, неудержимо стремящемся к нулю, таланте перевоплощения. Я о славе. Я был рад, что она тебя опять не миновала, как и в те давние годы, когда на твои лекции сбегалась вся Москва. (Толя Найман вспомнил в Иерусалиме прозвище,

которым тебя в ту пору окрестила покоренная тобой шестидесятническая общественность: «Глаза»). Слава нужна философу, какой бы ценой он ее ни получал, принимая ли цикуту после суда афинских мужей, онанируя ли на площадях, будучи ли объявленным сумасшедшим, снимаясь ли в кино и т. п. Знаешь, зачем философу всеобщая известность? Слава защищает труды философа от вмешательства в них пытливого дурака. Она спасает их от совсем уж слабоумных толкований, от доморощенных деконструкций, от псевдежа, если прибегнуть к жаргону стародавних переводчиц из «Интуриста». Если хочешь, слава несколько ограничивает произвольное обхождение истории с философским текстом. Что *obscuri viri* знают о прославившихся философах? Сократ? Отравился! Пятигорский? Буддист? Тот, которого выперли из Москвы на Запад? И всё! И удовлетворившись этим знанием, дурак не сует своего сочащегося носа в философский отдел библиотеки. Автор больше, чем его тексты, еще и потому, что он подставляет свою грудь под удар, который наносит им история воинствующая.

\* \* \*

Панегирик моему герою произнесен — пора бы мне закнуться. Расскажу разве что еще об одном эпизоде моей с Сашей жизни и на этом прекращу словоотделение. Как-то мы ехали с ним по кипрским горам, чтобы отведать шашлык из козлятины (да, из козлятины, читатель, не знаю, откуда ты снова взялся). Руль автомобиля находился справа, что было мне не в привычку. Превозмогая состояние, которое по-немецки называется *Unheimlichkeit* и не имеет словесного выражения по-русски («...мы повсюду дома...»), я подбадривал себя, распевая (нет, у меня категорически нет музыкального слуха: выкрикивая) сочиненную мной по дороге песню о нашей машине: «Иль костей не соберу, Иль освою „Subaru“». Мы прибыли в деревню, знаменитую блюдами из козлятины, и остановились. Чтобы не мешать уличному движению, которого, на самом деле, не было и в помине, я решил сместить автомобиль несколько влево, на самый край пропасти, неподалеку от которой я притормозил. Время признаться, что накануне за разговором мы с Сашей невзначай выкушали литровую бутылку девяностоградусного виноградного самогона. «Саша, — спросил я философа, забыв в похмелье о специфике его видения мира, — есть, куда ехать, с твоей стороны?» Чрезвычайно польщенный полученным практическим заданием, Саша с обстоятельным тщанием

опустил стекло, высунул голову наружу и, уверенный в том, что он поглядел вниз и влево, ответил мне: «О, да!» И повторил, чтобы отмести картезианские сомнения — как свои, так и мои: «О, да!» Я двинул автомобиль и, скорее, не столько услышал, как металл ударился о камень, сколько отрезонировал этот звук всем телом. Мы зависли на рессоре над провалом, чье дно не просматривалось. «Abgrund muss sein», — наставительно заметил бы нам любитель прогулок по горам Шварцвальда. Я мысленно проклял себя, вслух — Сашу и вцепился в его рукав с тем, чтобы он, чего доброго, не вышел из «Subaru» туда, где его ожидало не самое скорое соприкосновение с якобы всегда целительной почвой. Именно в этот момент я окончательно осознал (Саше не понравится глагол, но что делать, если я не только «работаю с сознанием», но иногда и использую его в качестве рабочего инструмента), что есть органический философ. Дефинирую: он есть такой философ, который в силу тех или иных соматических причин пребывает всегда сразу в двух разных точках мира и тем самым располагает в нем свое тело так, что, где бы оно фактически ни было, именно оно и будет миром. Никаких провалов для такого тела не существует. Пуруша — мифологическое представление о реальном Саше. Не исключаю, что Саша увлекся индологией, поскольку иначе не был в силах объяснить, как из него, вопреки всем геометриям, возник универсум. Очутившись над ущельем, я, конечно, не сообразил, что органическая философичность Бахтина — того же, в сущности, происхождения, что и Сашина: если вы испытываете трудности при передвижении, то к «здесь» вы постоянно приплюсовываете желанное «там». Но теперь, когда я пишу этот очерк, и Бахтин для меня — не загадка. Руссо, мечтавший сделать из ребенка естественного философа, не учел в своем педагогическом проекте, что детей при этом нужно не столько сблизить с природой, сколько безжалостно калечить, не щадя ни их глаз, ни их ног.

Вернусь, однако, к описываемому событию. Автомобиль, покачавшись над пропастью, начал после достижения им равновесия медленно, но неуклонно — под влиянием более тяжелого, чем мое, Сашиного философского тела — съезжать туда, где нам было бы не собрать костей, как пелось в моей дурацкой песне. Я-то еще мог выбраться из японской железки. У Саши на это не было ни малейшего шанса. В мгновение моего, отнюдь не кьеркегоровского, выбора между заслуженной мною смертью с Сашей и тусклой жизнью без него деревенская толпа дальних родственников тетехи,

потешавшейся над Фалесом, обступила, хохоча, автомобиль и ухватилась за него, не пуская его в бездну. Кто-то подложил доску под рессору, на которой мы сползали к гибели. Греки подналегли на рычаг, ухнули, как волжские бурлаки, и вытащили «Subaru» на проезжий путь. «Что бы мы, философы, делали без греков?» — пронеслось как первое, хайдеггерианское, в моем мозгу. И затем настал черед все на свете извращающей, что так остро почувствовал де Сад, диалектики: «Саша, а нам не хочется еще повисеть над бездной?»

*Порторож — Мюнхен  
1998*

## **II. СВЕРСТНИКИ**

## 1. ПУТЯМИ ХАМА

Мне не пришлось долго ломать голову над началом этого отрывка, потому что он, как предстоит убедиться читателям, не может открываться ничем иным, кроме цитирования моих паспортных данных: «род. 19.05.41, место рожд. — г. Ленинград». Мне повезло: мой дед\* был директором детского дома. Учреждения, подобные этому, подлежали первоочередной эвакуации из города, который вот-вот должен был подвергнуться осаде. Примерно через два месяца после появления на свет я отправился под бомбами на Урал. Возвращение оттуда домой после снятия блокады мой умственный взор связывает прежде всего с не вполне достаточными источниками света и тепла в дедовой служебной квартире (она была аппендиксом ленинградского Института усовершенствования учителей). Окна были заклеены крест-накрест бумажными полосами и занавешены грубой материей, служившей целям светомаскировки. Все помещение обогревалось одной чугунной печуркой, чей дымоход был выведен на улицу. Завершение войны отметилось в моей памяти исчезновением штор и заменой «буржуйки» на проволочные спирали, раскаляемые докрасна электротоком. В этом жилье, постепенно все более благоустраивавшемся, мне предстояло провести несколько моих школьных лет.

В январе 1953 года утреннее радио рассказало о награждении орденом Ленина Лидии Тимашук. Я не мог взять в толк, почему дед, вместе с которым я имел обыкновение

---

\* Мой совсем родной дед, георгиевский кавалер, выслужившийся на фронтах Первой мировой в офицеры, погиб в восемнадцатом году на стороне белых. Но и тот человек, которого я называю в моих записках «дедом», Михаил Васильевич Ломакин, тоже мой родной дед. Он был родственником погибшего Терсикова, женившимся на моей бабке, Анне Ильиничне, в девичестве Скрыбиной, которая осталась вдовой с моей годовалой матерью на руках. Михаил же Васильевич прижил трех сыновей в браке, который закончился смертью его жены в том же году, когда погиб Терсиков. Не знаю, как в других местах, но на Волге было принято жениться на вдовах близких родственников. Прошу извинения у читателей за эти подробности, которые были нужны только мне, чтобы назвать все своими именами.

ежедневно прослушивать спозаранку мировые новости, отнеся с окаменевшим лицом к сообщению о том, что простая медработница вывела на чистую воду врачей-убийц. Никогда прежде он не откалился на благие радиовести таким, не соответствующим их содержанию, образом. Недоумевая, я двинулся в школу. Для дальнейшего изложения важно заметить, что я был бессменным старостой класса, в котором учился. Задача старосты имела двоякий характер: а) соучаствуя во всех шалостях одноклассников, он был обязан не допустить превращения хаоса в окончательно неуправляемый; б) когда это не удавалось (что, понятно, происходило сплошь и рядом), он должен был под любым предлогом скрывать от учителей имена зачинщиков буйств и неистовств. Необъяснимо, откуда у послеблокадных детей, многие из которых заикались до судорог, узнав, что такое артобстрел, бралась неумная дионисийская энергия. В течение пяти лет я, если воспользоваться идиоматикой, усвоенной из связывавшего меня тогда с миром радио, успешно справлялся с обязанностями, возложенными на меня как старшими, так и младшими.

Придя в класс, я застал там невиданную по размаху свалку. Из сорока двух моих соучеников шестеро были евреями. Мальчик по фамилии Лавров, чей отец (капитан севморпути) однажды поделился с нами, угирая слезы (я не преувеличиваю), впечатлениями о личном знакомстве с тов. Сталиным, возглавлял погром. Шестеро избиваемых не сопротивлялись. В это утро я совершил первое в моей жизни предательство, быть может, не без неосознанного желания повторить с обратным исходом столь смутивший деда поступок Лидии Тимашук.

Господи, что только не читалось в том протяжном взгляде, которым директор школы измерил меня, после того как я заложил Лаврова!? И досада на то, что черт дернул меня как раз сегодня изменить неписаным правилам игры, ведущейся всяким уважающим себя старостой с учителями; и чувство ответственности педагога, не имевшего права обмануть надежду ребенка из педагогической семьи на восстановление школьной рутины и вместе с ней — справедливости; и героическая тоска человека, у которого еще была пара свободных мгновений, остававшихся ему до принятия решения пресечь антисемитское хулиганство в то утро, когда оно было благословлено свыше; и что-то еще такое, что не касалось ни нас обоих, ни вообще кого бы то ни было на этом свете. Лысоватый, со слегка татарскими скулами, директор сказал мне фразу, которую я, признаться, никогда не вспоминал впоследствии и которая всплыла во мне толь-

ко сейчас, когда я прилежно стараюсь возродить обстоятельства нашего разговора: «Иди и не возвращайся сразу в класс». Меня прятали — избавляли от опасности, не исключенной в будущем. Как же я забыл эти слова, которые обещали мне, что я, предатель, не буду предан, как бы ни повернулись тогдашние, вовсе не шуточные, события, и тем самым преподнесли мне исполненный виртуозного дидактического мастерства урок верности!?

Когда я, послонявшись по пустым школьным коридорам, во второй раз появился в классном помещении, я не обнаружил Лаврова среди успокоенных соучеников. Более я его никогда не видел. Что ни говори о сходстве тоталитарных режимов в разных частях Европы, насадить антисемитизм в империи не так-то просто, как в национальном государстве.

Я принялся раздумывать (как именно — не помню, но твердо знаю, что принялся) о моем предательстве сразу после того, как оно состоялось, бесцельно шатаюсь по школе, и оно продолжало неотчетливо волновать мою подростковую мысль и впредь. Оно сделало меня трансцендентальным существом. Рискну даже утверждать, что понятия «предательства» и «трансцендентальности» синонимичны. Без предательства самосознание, т. е. сознание себя слитным с Другим, не может стать подвижным, меняющим одно свое Другое на другое, — тем, что называется *sui dissimile*. Ветхозаветный первораб, Ханаан, был сыном первопредателя, Хама. Уж не Ханаана ли освобождает от родового проклятия Гегель, суля недовлетворенному собой Кнехту обретение Абсолютного Духа? И уж не Хама ли реабилитирует поздний Шеллинг, рисуя Бога-Отца бездейственным и слепым после акта Творения (наподобие провалившегося в пьяный сон Ноя) и полагая Откровением саморазвитие Сына? Пусть даже мои вопросы — праздная мозговая игра, непреложным остается тот факт, что трансцендентальный субъект философского идеализма не обходится без некоторой нелояльности, то ли прекращая служение безмятежно наслаждающемуся властью Господину, то ли не довольствуясь миром, завещанным Творцом.

У предательства дурная слава, раздуваемая моралью. Если Добро и Зло строго размежеваны, то в предательстве, предполагающем пересечение границы, следует подозревать вызов, бросаемый морали уже как возможности. Поэтому изначальноное Зло носит имя того, кто отпал от Бога, — Сатаны. Мораль, однако, не совсем верна себе, оправдывая перебежчиков в стан Добра, например, великих грешников, становящихся святыми. Чем абсолютнее Добро (чем более совпадает его власть с государственной, церковной или цер-

ковно-государственной), тем более благодетельным оказывается донос.

Под углом зрения морали трансцендентальный субъект либо противопоставляет себя ей, либо еще лишь дорастает до нравственного потолка (в самопревозмогании и в преодолении своей близости к опасным чужакам). Определение морали исчерпывается тем, что она разрешает нам овнутрить одного-единственного Другого, будь тот сверхъестественным или естественным авторитетом. Что подразумевает кантовская заповедь: «Живи и давай жить Другому!» — как не дистанцированность от Другого, замыкающую трансцендентальность? Самооговор — отчаянная попытка субъекта быть сразу и трансцендентальным, и нравственным. На будущее: впервые в русской литературе самооговор был изображен в одном из ее петербургских текстов — в «Преступлении и наказании».

В своей иудодиице Нильс Рунеберг, герой рассказа Борхеса, предлагает три оправдания предательства, которые я позволю себе перефразировать следующим образом: 1) оно философично, будучи подобным привнесению в мир метафизической истины; 2) оно более чем аскетично, означая отказ отважившегося на него от посмертного воздаяния, в других терминах, от сохранения себя в благожелательной памяти грядущих поколений; 3) оно антропологично, коль скоро предатель готов смешаться даже с подонками рода человеческого. Нильс Рунеберг спорит с моралью на ее же ценностном языке, сопрягая с Иудиным грехом то, что культура ставит по традиции особенно высоко (стремление к полноте знания, воздержание, соучастие в жизни падших), и поэтому не идет дальше уайльдовских парадоксов (универсализовавших себя вместо того, чтобы открыть в себе результат парадоксального хода истории, постоянно ошеломляющей нас странностями, которые, однако, выглядят логически неизбежными при учете предшествовавших им обстоятельств). Геологические проекты, набросанные у Борхеса, отменяют историю, для которой Иуда всегда был дурным примером, и предполагают, что предательство заведомо можно считать подвигом.

Между тем предательство вряд ли поддается априорной оценке. Как акт трансцендентальной свободы, как присоединение к не своему Другому, оно делает личность исторической; оно есть вообще предпосылка истории и подлежит только ее — в ее неустанной самокритичности — апостериорному суду. Предают всегда — место, время — результат дезертирства из пространства. Что предательство — условие

истории, стало особенно очевидным в XX в. Не поверни русский солдат во время Первой мировой войны свой штык против внутреннего врага, не была бы успешной та тоталитарная революция, которая определила культурно-политическое своеобразие нашего столетия на всех континентах Земного шара. Лояльность, конечно же, противоположна предательству, но не абсолютно, не как тюрьма — вольной жизни. Лояльность дополняет предательство так, что не позволяет трансцендентальной свободе стать дурной бесконечностью, т. е. несвободой. Лояльность работает на историю, как и предательство. Вместе они образуют целое истории. Тогда как предательство развязывает историю (что толкуется в мифе о Прометее) и нацелено в будущее, лояльность обращена в прошлое, охраняет его: неверный трансцендентальный субъект, если и верен, то своей неверности, своему былому, своей состоявшейся историчности — он *преган* себе. Настоящее есть момент выбора, но не себя, как мнилось Кьеркегору, а Другого в прошлом или в будущем выбирающего. Я знаю теперь, добравшись до этого пункта рассуждений, почему тот урок, который преподавал мне директор школы, вылетел у меня из головы: двенадцатилетний мальчик, я еще не имел прошлого в достатке.

Тому, кто живет в городе, вне которого прошло его раннее детство, легче предавать, чем тому, кто чувствует себя неотрывным от места. Много лет спустя я изменю и городу. Я разделю судьбу десятков моих сверстников, одни из которых по израильской визе рассеялись по всему свету, а другие переехали в Москву. Учась в университете, я усвоил себе привычку возвращаться домой, проходя пешком Невский проспект от Адмиралтейства до Литейного. Я соблюдал этот ритуал и позднее, благо служил неподалеку от здания Двенадцати коллегий. Прогулки по Невскому были сходны с путешествиями за знаниями, любимыми старыми романистами и новыми поклонниками Интернета. Пройдешь по улице, перекинешься парой слов с попавшимися по дороге приятелями — и главные городские новости, мало дошедшиеся для радиопередач, у тебя в кармане. Однажды (дело было наверняка осенью 1975-го) я испытал в конце моего маршрута тревогу, которая стала безысходной, когда я понял, что я вовсе не случайно не встретил в этот раз на Невском никого из моих друзей и знакомых, — многие из них один за другим покинули Ленинград. Их отъезды, выглядевшие некоторое время бесформенным сцеплением индивидуальных решений, вдруг открылись мне обобщенно — как выбор, предпринятый если и не всем поколением, то

его значительной частью. Скука, которая до этого казалась мне злокозненной выдумкой литературы, старающейся опровергнуть соперницу — жизнь, грозила стать моим повседневным настроением. Город снова терял своих жителей, как в войну. Время пошло вспять. Невольно припоминалась дедова квартира в том ее убогом виде, пока она еще была зашторена светомаскировочным сукном и покрыта пятнами плесени, с которой была не в силах совладать едва теплившаяся «буржуйка».

Кое-кто из оставивших Ленинград побывал, как и я, в эвакуации, другие — нет. Наш детский опыт был неодинаков. Андрея Битова вывезли из взятого в кольцо города в марте 1942 г. по ладожской «дороге жизни» (Д. С. Лихачев называет ее в своих воспоминаниях из-за опасностей, которые сопровождали пустившегося по этому пути, «дорогой смерти»). Сергей Довлатов родился в сентябре 1941-го там, куда попала, спасаясь из Ленинграда, его мать, — в Уфе. Иосиф Бродский пережил блокаду с первых ее дней до последних. Скольких я еще не упомянул?!

Как бы то ни было, тень блокады легла на нас всех, и наш исход из города был, среди прочего, бегством из этой тени. Мы не были ни странниками Блаженного Августина, взыскующими Града Небесного, ни номадами Делеза и Гваттари, блуждающими по деиерархизированному миру, в котором нельзя отдать предпочтение ни одному из его участков. Скорее мы стремились к оседлости, но за ее «чертой» — не там, где мы когда-то осели. В знаменитом видении, явившемся герою «Подростка», Петербург уходит ввысь вместе с окутавшим его туманом (думал ли Достоевский о горнем Иерусалиме?). Наш город остался там, где был, — улетучились мы. Кто отбыл навсегда, как Довлатов и Бродский, кто — регулярно навещаясь домой, как пропавшийся в Москве Битов.

Наше детство — наше бегство. Было, однако, еще что-то, что побуждало нас бросить Ленинград, а именно: самый замысел северной столицы. Один из тех, кто изменил ей, Борис Гройс, написал эссе о том, как к ней не могло пристать имя: то Петрополя, то Санкт-Петербурга, то Петрограда, то Ленинграда («Имена города» [1990]. — В: Б. Г. Утопия и обмен. Москва, 1993, 357—365). Город, порвавший с традициями древней Руси, ставший очагом, по точному выражению Гройса, «самоколонизации русского народа», иными словами, переметнувшийся на сторону Запада, то и дело предавал и самого себя, не удерживая своего названия. Он был трансцендентальной окраиной верной себе страны,

картезианским парадизом, в котором Русь предназначалась в интеллектуальном усилии выправить свое косное мировосприятие. И здесь же, где обновлялось русское самосознание, убивали императоров при молчаливом согласии их близких; служили сразу революции и Охранке, подобно руководителю эсеровского террора Азефу, или в обратном порядке, подобно главе политической полиции Зубатову, москвичу, перебравшемуся в Петербург и организовавшему в этом городе русское рабочее движение; обвиняли последнюю царицу в сговоре с врагом; нарушали в революционном порыве семнадцатого года воинскую присягу. Даже в архитектурной планировке Петербурга и в построении его зданий, в проглядываемых насквозь проспектах, набережных и парковых аллеях, в разбегающихся из одной точки в разные концы улиц, в П-образных домах, выворачивающих двор на обозрение прохожих и проезжих, есть некое разглашение тайны, выход наружу скрытого.

Нелояльность города нашла свое особенно отчетливое литературное выражение в «Петербурге» Андрея Белого, в романе, где сын покушается на жизнь отца (и тем самым усиливает прототип — предательское поведение Александра I по отношению к Павлу) и агент сыска возглавляет террор. То, о чем «Петербург» говорит впрямую, доказывал от противного гончаровский «Обломов». Заглавный герой этого романа, старавшийся во что бы то ни стало сохранить самоидентичность, обречен в трансцендентальном пространстве на деградацию и раннюю смерть. Идея петербургского текста пришла в голову москвичу, Владимиру Николаевичу Топорову. Издалека литература о городе читается как единообразный миф о принятии героями этого мифа последних решений. Но ни Аبلухов-младший, ни Обломов не способны к решительности. Если петербургский текст и есть, то он ведет речь о предательстве (вспомним хотя бы «Уединенный домик на Васильевском»: в этом сочинении Пушкина-Титова рассказывается о том, как inferнальные силы способствуют измене).

Сталин неусыпно подозревал ленинградцев в вероломстве, подвергая город периодическим чисткам. Тирани нельзя отказать в остром историческом чутье, но в приложении к современности его подозрения были анахронизмом: после того, как советское правительство обосновалось в Москве, город сделался выморочным, потерял весь свой трансцендентальный смысл, превратился в сугубую форму (недаром именно здесь расцвел литературоведческий и лингвистический формализм), не пустую только потому, что она обла-

дала архивной ценностью. Предавая Ленинград, мы странным образом оживили его петербургское прошлое. Предательство объединилось с преданием, время опространстилось. Мы расконсервировали архив. Верность и неверность не только взаимодополнительны. Иногда они совпадают друг с другом. Быть может, только в Ленинграде. Быть может, только в жизни моего поколения.

*Порторож  
1998*

## 2. 1. «ЕВРОПЕЙСКАЯ». ИЗ ИСТОРИИ НРАВОВ

Происхождение этого текста таково. Один выдающийся стиховед спросил меня во время застолья, поедая сыр (неужели еще не ясно, кто имеется в виду?), почему я отказываюсь писать воспоминания. «А о чем вспоминать? — отпарировал я? — О том, кто, когда, что и сколько выпил?» И сразу же раскаялся, поймав себя на мысли о том, что хоть алкоголь я не должен предавать.

\* \* \*

Ресторан «Восточный» располагался в нижнем левом (если идти к Адмиралтейству) углу зданий, в которые я регулярно навещался, пока был молод. В еще два ресторана попадали из главного входа в гостиницу «Европейская», один из них был на втором этаже, а другой — на последнем и назывался «Крышей».

В «Восточном» мы гуляли до переименования этого кабака в «Садко». Пока идея опускания на дно не была записана в название злачного места, там играл с эстрады на скрипке горбоносый армянин, иногда подходивший к нашим столикам, чтобы подчеркнуть, что мы, несмотря на незрелость, уже принадлежим к тем, кто благословлен заведением. Мамочки-официантки кормили нас под залог, в который мы отдавали им зачетные книжки. Я заказывал, как правило, котлеты по-киевски и водку. К ним подавались портившие желудок подогретые булочки. Черт его знает, где лежит различие между аскетизмом и гедонизмом. В наслаждении пищей, за которое когда-нибудь ведь придется расплачиваться, не меньше самоотречения, чем в воздержании от обжорства. Может быть, даже больше. Котлеты брызгали в лицо жиром при неловком разрезании. Водка проваливалась в студенческое пустое нутро, не вставая колом при проглатывании и не вызывая гримасы притворного отвращения. Что поглощал в «Восточном» Сережа Довлатов, я не помню. Формулу: «Чем бы ни закусывал, а блюешь всегда винегретом», — он изобретет несколько лет спустя. В Питере «Во-

сточного» больше нет, но он есть в Нью-Йорке, на Пятой авеню. Там открыл ресторан наш собутыльник, о котором газета «Смена» во времена нашей юности напечатала фельетон под заголовком «Навозная муха». Что было, нелегко истребить. Пусть и в другом пространстве, оно еще есть.

Однажды я явился в «Восточный» после лыж в Кавголово в тяжелых сапогах и в воняющем потом ватнике. Мамочки, которые блюли приличие во всем, скептически осмотрели меня и провели на баллюстраду, в отдельный кабинет. Отказа нам в «Восточном» не было. Бродский поедал салат «Столичный». Или с крабами? Фима Койсман, процветавший в то время адвокат, который вел квартирные дела, соблазнял наших с Довлатовым девушек. Отдавшись Фиме, дабы приобщиться телесно социальному успеху, девушки не покидали нас. Мир был устойчив. Это был послевоенный мир, которому надоели все его большие события и который отдыхал от потрясений. Фиму мы с Сережей простили. Мы, собственно, решили его убить, выпив немного (т. е. немало). Когда мы в два часа ночи нагрянули к Фиме, чтобы исполнить наше, как будто не поддававшееся никакому укрощению, желание, он, сразу оценив опасную для себя ситуацию, вынес нам пару бутылок, как сейчас помню, кореандровой, которую, видимо, запас для водопроводчиков, и на этом дело кончилось. Почти двухметровый Сережа по-обезьяньи повисел в дверном проеме и поболтал ногами, чтобы напугать малорослого Фиму, после чего мы, пошатываясь, удалились. Позднее Довлатов сочинил песенку про Фиму: «...А он-то был решительный еврей. И с денежкой в кармане, В шикарном ресторане Бывал желанным гостем для блудей». В рифме меня не устраивал не столько прорезавшийся в Сереже эдипальный антисемитизм, сколько ее бедный звуковой состав. В «Восточном» мы досидели пятидесятые и встретили шестидесятые.

Я пытаюсь мысленно нарисовать себе парижское кафе, где ошивались в ту же пору, что и мы в «Восточном», экзистенциалисты. Опаздывающего Сартра, который выстраивал тоталитарную очередь, ждущую свидания с мэтром. Исполненные высокого трагизма разговоры о человеке бунтующем. У нас не было ничего подобного.

Никакой специально выработанной поэтики поведения. И вовсе не только потому, что мы были слишком молоды, чтобы иметь свое суждение и свое право на участие в theatrum mundi. В бедной рифме, как бы ни восставал против нее вкус, была своя прелесть — непреднамеренности. Беседы о высоком не допускались, будучи узурпированными советской пропагандой. Мы пили и ели. Кое-кто из нас танцевал. Мы были воплощенным свидетельством того, что и по-

сле Второй мировой войны вместе со всеми ее локальными продолжениями жизнь течет. Когда Бродский с пафосом продекламировал в комнатенке Довлатова «Шествие», Ася ползла под стол, чтобы не обижать автора истерическим смехом. Нам всем хотелось стать авторами, но после еще одной, охватившей человечество, войны пить, есть, танцевать и ебаться было еще важнее, чем писать. Или чем убивать кого-то.

Никто из нас не был убежденным пацифистом. В нас застрял некий воинственный дух, но мы сделали все возможное, чтобы не служить в армии. Дабы избежать рекрутчины, Бродский, если мне не изменяет память, стал на учет в дурдом. Никита Дубрович симулировал недержание мочи. Когда его положили в больницу, где он должен был подтвердить выдвинутый им диагноз, он выяснил, что не может мочиться под себя. Да и вообще мочеиспускание у него временно приостановилось. Сострадавшие красивому усатому Никите медсестры приносили ему их уринальные отходы в утке, и он выливал их на ночь в кровать. О том, испытывал ли он оргазм, забываясь под одеяло, я не спросил его из-за того, что вслед за его рассказом посыпались похожие истории перебивавших друг друга наших приятелей. Переспросить некого. Что касается меня, то мои документы были выкрадены из райвоенкомата. Человек, который подтибрил их, попытался лишить меня за свое благое деяние моей мужской невинности, которую я защищал, как если бы она была честью Родины. (Отступать некуда, позади — anus). Когда я, собравшись много позднее эмигрировать, пришел в военкомат, чтобы сняться с учета, дежуривший там офицер вернулся из комнаты за железной дверью с помеловевшим лицом. Моих бумаг он не отыскал, и нам с ним пришлось составлять их заново. Что только не творится в этом мире из-за любви пожилых мужчин к стройным юношам, которыми им больше не стать?! Совершаются должностные преступления. Создается античная философия.

Особенно трудно сложились отношения с армией у Майкла, дед которого командовал дивизией, захватившей во время финской кампании Кавголово, а отец был морским офицером, специалистом по торпедам. Происходивший из потомственной семьи армейских служаек, Майкл начал сопротивляться военному делу на первом же курсе учебы в университете, где нам по субботам читал лекции по тактике полковник Ерно-Волжский. Во время двухчасовых лекций мы должны были сидеть в противогазах. Я, право, не собираюсь вызывать никаких ассоциаций с иракскими ракетными ударами по Израилю — просто рассказываю, что было. Майкл отказался надевать на себя резиновую маску, сослав-

шись на то, что для его головы нет соответствующего ей размера противогаза. Ерно-Волжский попробовал натянуть на действительно здоровенную Майклову башку самый большой из имевшихся у него противогазов (шестой номер), но только порвал резину, поцарапал Майклу ухо и пробормотал что-то про «пивной котел», цитируя антитатарскую былинку за неимением в русском фольклоре антисемитской. От армейской службы Майкл отбоярился как учившийся в школе для дефективных детей. Она была ближайшей к его дому, и когда его мать попросила брата записать Майкла в первый класс, дядя-пьяница не стал утомлять себя и своего подопечного дальней прогулкой. После первой четверти Майкл стал отличником, и семейный совет, хотя и раскрыл, трезво подойдя к умственным способностям ребенка, промах дяди, все же решил подержать мальчика там, где он стал лучшим из лучших, еще полгода. Когда Майкл достиг призывного возраста, оказалось, что семья никогда не заблуждается, как об этом правильно думал Иван Киреевский.

В Москве творилось то же самое. Гарик Суперфин, явившийся в военкомат на медицинское освидетельствование, так невероятно закосолапил и так закатил глаза, вылупив белки, что был тотчас отправлен в психоневрологический диспансер, где был признан психически ненормальным, что мне иногда, если мы ссоримся, не кажется слишком большой ошибкой. Из моих тогдашних друзей только Соснора, Гордин и Довлатов прошли срочную службу. Соснора был старше нас. О том, как Яков выбился в ефрейторы (в сержанты, — поправил меня Яков), пусть он сам рассказывает. Сережа попал в вохру, не зная, каким еще образом он мог бы искалечить себе жизнь.

\* \* \*

В «Европейской» останавливался Виктор Владимирович. С Виноградовым меня познакомил Владимир Иванович Малышев. Вместе с ним мы встретили на вокзале Виноградова, приехавшего из Москвы, и отвезли его в гостиницу. Владимир Иванович был непревзойденным собирателем древнерусских рукописей и выпивохой. Мать моего первого тестя рассказывала, как В. И. рано утром пришел к ней, чтобы попросить извинения. «За что?» — удивилась Мария Филипповна. «Ну, я тут у Вас в кальсонах бегал», — признался, невероятно смущаясь, В. И. «Вы вчера у меня не были», — возразила Мария Филипповна. «Господи, у кого же я был?» — воскликнул В. И. и так и не нашел никогда ответа на свой вопрос. Я не думаю, что В. И. знал, что он, однажды покатав в водочном угаре урны по Пушкинскому Дому во

время дежурства в нем на ноябрьских праздниках, станет героем гениального романа Андрея Битова. И автор романа вряд ли подозревал, что за человека он превратил в Игоря Одоевцева, прослышав про скандал в Литературном музее. Вернемся к Виноградову — «на предреченное», как сказал бы какой-нибудь древнерусский книжник. Итак, мы с Владимиром Ивановичем встретили академика и отвезли его в «Европейскую». Быстро пройдя в туалет, Виктор Владимирович нашумел там. Я обожал русских формалистов и никак не мог предположить, что они дадут мне свой первый знак таким образом. Будучи тогда семиотиком, я вкладывал в понятие знака слишком много смысла. В чем состоит сущность формализма, я разобрался вскоре после того, как Виноградов облегчился. В. В. и В. И., которым было нельзя пить по причине нездоровья, заставили меня выхлебать литровую бутылку отвратительного итальянского бренди. Они следили за мной при этом с поощрительным, но сугубо садистическим интересом. Что для садистов — форма, для их жертв — содержание. Мне стало нехорошо после выпитого. Вспомним Эйхенбаума и Шкловского: формализм постарался преодолеть традиционное для русской литературы сочувствие к «маленькому» и «лишнему» человеку. Остранение становится во главу угла ментальности, если сопереживание превращается в наблюдение. Виноградов, чьим ленинградским секретарем я стал в тот момент, когда прикончил итальянскую пакость, выдержав посвяtitельный обряд, потворствовал и в дальнейшем моему пьянству, но уже не в «Европейской», а у себя дома, в Москве, в башнеобразном здании Моссельпрома, на предпоследнем его этаже. О «Европейской» он рассказал мне следующее: «Тынянов был бедный человек. Мы все нуждались в деньгах. Маяковский издал номер „ЛЕФа“, посвященный Ленину. Приехал в Ленинград и устроил нам, формалистам, прием в „Европейской“ (имелся в виду ресторан на втором этаже). Тынянов его спрашивает: „Где гонорар?“ Маяковский отвечает: „Я вашими гонорарами ужин оплатил“».

Виноградова обвиняли в том, что он подтвердил своей экспертизой авторство Синявского, сыграв в пользу несправедливого суда. В моссельпромовской квартире Виктора Владимировича висел портрет Ахматовой. Он гордился тем, что, несмотря на ждановщину, отстоял право показать на своей юбилейной книжной выставке написанную им когда-то брошюру об Ахматовой. Плохо отзываться о Сталине при нем не разрешалось. Виктор Владимирович ценил власть и был ее своевольной частицей. Синявский под конец жизни стал печататься в «Правде». В дураках — только судьбы и того, и другого. Когда умер Владимир Иванович, со мной первый

раз в жизни случилась депрессия, которая длилась несколько дней. Она теперь повторяется, когда я перерабатываю. Депрессия настаивает на нас не потому, что нам маячит неизбежная смерть, а потому, что мы не можем вернуться в бессмертное прошлое. О Викторе Владимировиче подробно и точно написал Саша Чудаков («Тыняновский Сборник». Москва, 1998). Отсылаю читателей к этой статье.

\* \* \*

Театральность не была принята в «Европейской». Не то, чтобы мы старались детеатрализовать жизнь. Просто мы не знали, что такое закулисная повседневность. Иначе говоря, нам была неведома незримая изнанка театра, диктат режиссуры. Перформансы начались в брежневской Москве, потому что у жизни, альтернативной текущей, тогда не осталось ничего, что она могла бы, кроме искусства, противопоставить затяжным походам в магазины. С нами было иначе. Однажды несколько коблов поднялось на «Крышу». Еще не войдя в зал ресторана, мы увидели нашу общую приятельницу, сидевшую за столиком с женихом, который так и не стал ее мужем. Вот почему. Каждый из нас по очереди, с промежутками в десять минут, вступал в зал и подсаживался к парочке, по-своему заводя разговор с невестой. Жених оказался, по меньшей мере временно, стойким и веселым человеком, и мы славно посидели в тот вечер. Шура пел: «...Нальем вина в чуть треснувший бокал. Ведь нас с тобой ничто не разлучит...» Бывшая невеста подтягивала. Устроили ли мы розыгрыш? Мы все когда-то спали с этой милой дамой, так что мы не обманули ее ухажера. Шутки шестидесятников не отличались замысловатостью. В высшее общество, случись таковое в СССР, нам бы не было ходу. «Хуй сосаете», — каламбурил Бродский. До поздних своих дней он был и впрямь убежден в том, что салон предпочитает fellatio. Дело Клинтона его не поразило бы. Любимыми стихами лучшего из лингвистов, с которыми меня сводила жизнь, были и остаются: «Голые бабы по небу летят, В баню попал реактивный снаряд». После всеобщей войны глубокая ирония, которую питает индивидуализм, отдавала бы противоестественностью. В ранней работе, которую я высоко ценю, Делез определил иронию как копание в ноуменальном и противопоставил ей скользящий по поверхности юмор. Если принять эту оппозицию, то нас следовало бы назвать юмористами. Рорти считает, что ирония неотделима от либерального умонастроения. Если согласиться с Рорти, мы не были либералами.

\* \* \*

Я перелистал мои заметки по философии театра. Дидро спрашивал в «Парадоксе об актере», как найти критерий истинности в случае театра, в котором разыгрывается отказ от того, что присуще личности, раз она надевает на себя маску. Шопенгауэр, озабоченный выяснением истинного «я», как и Дидро, объявил лицедеев близкими к безумию. Плеснер придумал выход из этой дилеммы, определив человека как неготовое существо, которое вынуждено поэтому вымысливать себе роль. Истинной у этого антрополога оказалась, стало быть, неистинность человека. Плеснер, написавший свою статью о социальных ролях как о содержании, которым исчерпывается homo sapiens, в 1948 г., конечно, читал Зиммеля («Der Schauspieler und die Wirklichkeit», 1912). На сцене, утверждал Зиммель, человек творчески перевоплощает свое сосуществование с Другим.

Философам хотелось измерить театр, заняв позицию искателей не его правды. Русские мыслители мало чем отличались в этом от западно-европейских. Евреинов возвел театр к эшафоту (1918). Андрей Белый («Театр и современная драма», 1908) считал, что театр преодолит в жизнетворчестве. Шпет (1922) заставляет нас поверить в театр, потому что сценическое искусство работает с той данностью, без которой нас не было бы, — с нашей плотью. Степун посвятил «Природу актерской души» (1923) обсуждению гегелевского самосознания, порождающего у всех «многодушие», актерство.

Я привел очень разные идеи театра. Но они вращаются вокруг неизменного проблемного центра: на сцене нет правды (Шопенгауэр); у театра есть правда — другая, чем он сам (таково мнение философского большинства); театр вторичен относительно жизненной игры или уступает ей (Плеснер, Степун, Андрей Белый). Почему бы не предположить, что у него есть своя истина? Не заключена ли она в том, что ее утверждает на сценических подмостках режиссер или драматург? Не значит ли это, что роль всегда навязывается актеру? Не учит ли нас театр одному и тому же, а именно: если ты подвластен, притворяйся, будь лицедеем? У того, кто подчинился, есть только роль, его самого нет. Свобода актера невелика. Она в том, что драматический текст дает ему право перейти из одной роли в другую: например, перевоплотиться из мелкого чиновника в ревизора. Театральность не удавалась моему поколению, принимала у нас дурацкую форму, потому что мы не умели ни господствовать, ни подчиняться. Нам были одинаково чужды

и раболепие исполнителей ролей в тоталитарном спектакле, и либеральная авторежиссура, индивидуалистическое самовластие. Можно сказать, что наша премьера провалилась. Но можно поставить вопрос и иначе: мы испытывали на прочность самое театральность, доводя ее до того предела, где она теряет смысл. Менее всего мы стремились устранить текст из жизни. Но когда то и другое сталкивалось в нас, мы оказывались среди обломков.

\* \* \*

В сентябре 1968 г. Валера Попов купил в Гостином дворе своей дочке настольный бильярд. Месяц тому назад Горбаневская вышла на Красную площадь, чтобы спасти святое имя ее страны, вторгшейся в Чехословакию. Месяц вторжения запомнился мне невероятным уловом раков, которых мы поехали с Андреем Черкасовым, уединившись от мира на его даче и молчаливо слушая радио. Может быть, нам и хотелось поговорить, но наши языки были поранены раковыми панцырями. После совершенной Валерой покупки Слава Самсонов, Валера и я встретились под Думой, куда случайно приехал на автомобиле Толя Гейхман. Багажник его машины был загружен доверху литровыми бутылками водки с этикеткой, изображавшей трех богатырей. В жизни много литературщины (я имею в виду трех богатырей). Литература в своих лучших образцах (я говорю о Рабле, Стерне, Достоевском, Толстом, Андрее Белом, Селине, Владимире Сорокине и некоторых других) преодолевает тот эстетизм, которым преследует нас обыденщина. Как назывался сорт водки, которой был забит Толин багажник, я забыл. «Русская»? Одну из бутылок Толя подарил нам и благоразумно уехал прочь от нашей шальной компании (станешь осторожным после двух сроков!), а мы отправились на «Крышу».

Разлив подаренную нам Гейхманом водку под столом, мы выпили за Дубчека, после чего к нам подсел капитан третьего ранга, на которого мы поначалу не обратили особого внимания. Валера и Слава играли на детском бильярде на деньги. Полностью проигравшись, Валера хватил с досады настольным бильярдом Славу по голове. То, что произошло в дальнейшие несколько секунд, действительно было. За соседним столом, где праздновали свадьбу, в тот же самый момент, когда Валера разозлился из-за своего поражения, зарезали жениха. Наш принаряженный в подводника гэбешник («Садко» уже имел место быть) совершил трудно представимый прыжок, чтобы выхватить нож из рук убийцы. Слава поделил на троих остатки гейхмановской водки. «Ну

что, валим?» — спросил Валера. Внизу, при выходе из «Европейской», милиционеры, сославшись на убийство, потребовали от меня паспорт.

На следующее утро директор Пушкинского Дома, Василий Григорьевич Базанов, призвал меня к себе. В его кабинете сидел Комсар Нарсессович Григорьян, наш старейший институтский стукач, когда-то бывший приставленным к Эйхенбауму. «Как Вы (я был назван «солнечным мальчиком») позволили себе так вести себя?» — упрекнул меня Базанов. «А что он себе позволил?» — заинтересовался Григорьян, еще не проинформированный о том, что я поднимал тост за Дубчека. «Так надраться», — крикнул ему Базанов. «Вам нельзя так много пить, Игорь Павлович», — заметил мне Григорьян, подлизывая жопу начальству. Базанов облегченно вздохнул. Он знал, что эта фраза будет повторена в еще одной организации. Драматургия была безупречна. Я, театрально бездарный, навсегда останусь благодарным Василию Григорьевичу за эту, поставленную им, пьесу. Базанов давно умер, а кавказца я видел в прошлом году марширующим мимо Пушкинского Дома. Как выклевывать печень Прометею? Гэбешного подводника я встретил еще раз месяца через два, когда Валера праздновал на «Крыше» день рождения. Когда я увидел снова заседающего в «Европейской» капитана третьего ранга, я бросился к нему, и только вмешательство превосходившего нас обоих вместе по весу Славы закончило битву не на жизнь, а на смерть всего лишь сдиранием с кителя лжеморяка металлического изображения подводной лодки, каковому предназначалось вводить в соблазн иностранных шпионов.

\* \* \*

Хотя в роли немецкого профессора я зарабатываю вполне прилично, а к тому же и моя жена — тоже немецкий профессор, чашка кофе, которую мне подали в «Европейской» после ее переоборудования скандинавами, пришлось мне не по карману. Но прежде чем расстаться навсегда с местом, где прошла молодость, мне хочется рассказать еще одну историю, случившуюся там. Дело было в начале перестройки, в декабре 1986 года. Я приехал в Ленинград из Гамбурга, по дешевому тарифу, которым была известна туристическая фирма «ИМКА». Вовсе не черт дернул меня связаться с христианской организацией — она давала вожденную мной возможность останавливаться в «Европейской». Нужно описать грудь коридорной, которая, странно посмотрев на меня, запретила мне проводить в номер Валеру, собиравшегося раздеться в нем перед тем, как начать пьянст-

зовать со мной на втором этаже. Затянутая белым шелком, грудь выдавалась по сию сторону стола, за которым сидела женщина. Дальновидное, как выяснилось, предупреждение дежурной я не взял в расчет. Мы съели с Валерой котлеты по-киевски на память о «Восточном» и выпили — нет, я не скажу сколько: русских этой порцией не удивишь, а европейцы моему рассказу не поверят, справедливо сочтя количество принятого нами в себя алкоголя смертельным. Я попытался потанцевать с молодой дамой, сидевшей за дальним столиком, у самого входа в кабак. Поначалу она мне отказала. На второе приглашение к танцу она сообщила мне, что она старший лейтенант по чину и что она согласна сплясать со мной исключительно из-за того, чтобы не привлекать к себе особого внимания. «Во, бля, — подумал я, прыгая с возбуждавшим меня старшим лейтенантом по залу под аккомпанемент Калпашикова, — какие откровенные времена настали».

Когда мы с Валерой, напившись, поднялись на мой этаж, коридорная вначале дала мне ключ от моей комнаты, где висела Валерина шуба, но затем, увидев моего нагрузившегося товарища, певшего — при попытке осилить лестницу — песню «Елы-палы», у которой было множество мотивов, стала отнимать у меня ключ. Валерин подъем со второго этажа на третий мог бы стать киносценой. Справа и слева от лестницы стены были увешаны зеркалами. Время от времени Валера останавливался на ступеньке, сопел носом и вперял испытующий взгляд в зеркала. Узнать себя в отражениях он так ни разу и не смог. Это озадачивало его. Он устало и неопределенно махал той рукой, которой не держался за перила, охал, заводил вновь «Елы-палы» и продолжал восхождение. Итак, Валера был уже в двух шагах от дежурившей на моем этаже дамы, протянувшей мне ключ, который она затем постаралась вырвать из моих рук. В завязавшейся схватке коридорная раскроила мне массивным ключом палец. Кровь брызнула на грудь, описанную выше. Могучие белые титьки, нависшие над столом, обагрились. Мне был вручен ключ напуганной происшествием женщиной при условии, что я захвачу Валерину шубу, не впуская его в номер. Валера сел на китайскую фарфоровую вазу, которая украшала пост коридорной.

Когда я вернулся, неся в охапку одежду, я увидел, что тяжеложопый Валера сидит на полу в осколках фарфора, вокруг него толпятся милиционеры, а коридорная то и дело бросает сверху вниз стыдливый взгляд на свое окровавленное вымя, на которое подозрительно и нескромно смотрят также блюстители закона. Нас отвели в хорошо знакомое нам по юношеским загулам отделение милиции в переулке Крылова, вблизи от Публичной библиотеки, о которой я

подумал с чувством настоящей вины, когда менты предложили нам объясниться. Они дали Валере лист бумаги, на котором он одним росчерком вывел «Я», занявшее всю страницу. Нарциссы 60-х гг. делятся, как минимум, на три категории: а) канючащие, которые были любимы Сартром (читайте, скажем, Буковского, разумеется, Чарлза), б) воинственные (пример: Лимонов) и с) радостно утверждающие себя даже в аду — таков Валера. «У вас нет еще бумаги?» — заискивающе спросил Валера капитана, который восседал за стойкой. «Пишите помельче», — посоветовал тот, сунув Валере свежий лист. Валера написал буквами, напоминавшими те, которые выцарапывали индейцы, умудрившиеся целым племенем поставить свои имена на рисовом зерне, подаренном Сталину: «Валерий Георгиевич Попов». Напряженно морщась, капитан, не желавший держаться с нами запанибрата, удалился, чтобы нахохотаться, в глубину помещений. Внешне он не имел ничего общего с красавицей Асей, соскользнувшей под стол, когда Бродский решил познакомить своих друзей с удавшимся ему только частями «Шествием». Когда офицер вернулся, он потребовал от нас двадцать рублей за разбитую вазу. Сумма была ерундовой. В этот момент в отделение вбежал дежуривший в «Европейской» гэбешник с заячьей губой. На улице стоял морозец, но запыхавшийся молодой человек был без пальто. Он долго пытался дозвониться по начальству, и когда рождественскому зайке это удалось, нас отпустили.

На следующее утро переводчица из моей туристической группы, тревожно попросила меня, чтобы я выяснил, где находится мой паспорт. Он был не в гостинице, а в милиции. Совсем другой капитан сообщил мне, что мне дадут пять лет срока за сопротивление властям. «Кому я сопротивлялся?» — удивленно осведомился я. «Швейцару», — сообщил он мне, несколько гордясь тем, что милиция не берет на себя грех лжесвидетельствования. Гостиничный швейцар был, наверняка, бывшим старшиной гэбухи. Через некоторое время в участок прибыл Валера с чемоданом. Чтобы подвергнуть нас суду, нас нужно было поместить в заточение. А чтобы посадить кого-то в кутузку, нужно было отнять у него ценные предметы, составив им опись. После того, как меня лишили пыжиковой шапки и золоченых очков фирмы «Bugatti», дело дошло до Валеры. Я наблюдал за этим из камеры, дверь в которую не закрыли. В чемодане оказались книги писателя Попова, переведенные на иностранные языки. После того, как милиционер с трудом переписал название чешского перевода рассказов Попова, он наткнулся на издание, вышедшее в Венгрии. Воспроизвести венгерскую графику служивый не сумел. Нас отпустили, заметив на

прощание, что суд над нами состоится завтра. «Ну что, прогуляем еще?» — подмигнул мне Валера. Дарованной нам восточноевропейской мировой литературой свободы мы в тот день не потеряли.

Утром другого дня мы опять явились в переулок Крылова. Валера был без чемодана. Нас посадили в «воронок», отвезли на Лиговку и сопроводили в натуральное подземелье. Там, под радиотарелкой, из которой Кастрица сладко пел: «Мама, милая мама...», сидел милиционер. Нас судила молоденькая бабенка, видать, только что окончившая юридический факультет Ленинградского университета. Валера сделал патетическое перестроечное заявление: «Я, — воскликнул он слегка сдававшим с повторного похмелья голосом, — требую адвоката». «Правильно», — сказала выпускница университета, почуявшая перестроечные веяния. И добавила: «Завтра будет дежурить моя сменщица».

Что судить нас все-таки будут, несмотря на все Валерины уловки, было ясно, и мы решили предпринять защитные меры. После того как мы зашли в «Сайгон», чтобы изгнать остаточный алкоголь кофеем, в каком-то я, Бог свидетель, обнаружил отчаянно гребущего всеми конечностями без надежды выбраться из чашки глянцевозеленого таракана, я позвонил по телефону одному известному русскому прозаику, который на рассказанное ему ответил мне, что не собирается ввязываться в «уголовку». Валера же позвонил писателю-нацмену, довольно влиятельному в Ленинграде, который, в отличие от его полнокровно русского коллеги, отказался поддерживать нас, потому что считал наше дело политическим. Все-таки нужно без всякого чувства расового превосходства признать, что русские будут поизворотливее, чем чукчи. Мир, впрочем, не без добрых людей. Ныне покойная жена одного моего друга собрала мне большие деньги, но мы так и не придумали с ней, что я с ними могу предпринять. Дом брата ее деда, великого русского химика, большевики превратили в тюрьму для дураковатого Николая II и его домочадцев. Мысль об этом несколько волновала меня. Бывший офицер КГБ, которого я за многое любил, в том числе и за фразу: «На хуй меня туда забрасывали?», — произнесенную им после советского вторжения в Чехословакию, убеждал Большой дом по телефону оставить меня в покое.

Кажется, его переговоры и решили дело в нашу с Валерой пользу. Затем мы еще раз с утра предстали перед милиционерами из переулка, носившего имя басенника-моралиста. У нас опять отняли те вещи, каковые считались в ту пору ценными. Нас снова затолкали в «воронок» и отправили на Лиговку. Сменщица перестроечной судьбы была подготовле-

на к нашему приезду. Был приведен швейцар из «Европейской», который дал показания о том, что мы при задержании ругались матом. «Писатель и филолог, а матюгаются», — состроила судья. Валера взял меня за руку, чтобы смягчить этой последней лаской немецкому чиновнику ту роковую минуту, когда он узнает, что его поместят на пять лет в советский концлагерь. Вместо этого нас подвергли незначительному денежному штрафу. Отрывки статьи С. Симановского и А. Щербакова из «Советской России» за 30—31, 12, 1986, которые приводятся ниже, объясняют, что именно разыгрывалось за кулисами устроенного нам с Валерой театра. *Sapientia sat*. Преподавательница-армянка, вдалбливавшая мне латынь, была бы довольна собой, если бы ознакомилась со стилем моего письма. Может быть, стоит добавить к тексту из «Советской России», с которым читатели справятся и без моих подсказок, напоминание о том, что 4 января 1987 г. в «Правде» было напечатано сообщение о гибели журналиста В. Берхина, причиной которой явились действия ворошиловоградской госбезопасности, и о том, что 8 января Чебриков, главный в ту пору чекист, принес в той же газете извинения за учиненное его сотрудниками злодеяние. Не знаю, это ли покаяние или что другое приостановило завязанную тогдашними начальниками Большого дома гамбургско-ленинградскую интригу, которая станет ясной из нижеследующего:

### ФИРМА НЕДОБРЫХ ДЕЛ

Чем больше думаешь о том, что могло бы произойти, если бы эта акция не была сорвана в самом начале, тем больше осознаешь масштабы готовившейся операции [...]

...Где-то на территории ФРГ [ , ] на улицах одного из городов [ , ] появляется автомобиль, припаркованный в месте массового скопления людей. Эта машина, что легко устанавливается позже в ходе расследования, доставлена в ФРГ гражданами Финляндии [хотел, но не могу воздержаться от комментариев: дальше Финляндии вялое евразийское воображение Носырева и Блеера не пошло. — *И. С.*]. Выясняется также, что финны за деньги отработывали заказ, полученный ими в Ленинграде: «Доставить в ФРГ груз, спрятанный в тайнике машины». Заказывают, что подтверждается позднее также полностью, настоящие советские граждане [...] Машина должна быть начинена взрывчаткой [...] Тут уж, как говорится, можно спустить на «Советы» всех собак [...] Главное, представить всему «свободному миру» долгожданное свидетельство голословных утверждений о том, что корни терроризма взращиваются в социалистических странах. Вы, господин бундесбюргер, не верили тем, кто указывал «болгарский след» в деле о покушении на папу римского [Валера, смекаешь, куда мы влипли? — *И. С.*? [...]

Директор туристской фирмы «ИМКА-Гамбург» [,] господин Герхард Вальтер Вебер [,] имеет представление о всех подробностях дела [...]

У себя в Гамбурге он далеко не последний человек. Здесь почти четверть века назад он начал свой путь наверх [...]

Его антисоветизм и антикоммунизм хорошо известны хозяевам. Еще в 1970 году он организовал провоз и принял личное участие в распространении антисоветской литературы среди наших граждан в Риге [...]

Подлинный характер деятельности «ИМКА-Гамбург» не был секретом для многих в ФРГ [...]

Активно ведут антисоветскую обработку туристов Хютер Татьяна Ивановна, выехавшая из Ленинграда, Барбиан-Цензура Ольга Михайловна, урожденная Симферополя, Эльверт Ирина Эльмаровна, родившаяся в Астрахани, Бургман-Шмид Ирина из Алма-Аты [Ира — жена гамбургского профессора-слависта Вольфа Шмида — И. С.].

Большая их часть выехала за пределы нашей страны совсем недавно по так называемой линии брака с гражданами ФРГ. Кстати сказать, организация подобных браков с целью выезда является одной из многочисленных функций «ИМКА-Гамбург» [...]

Свои многочисленные и широкие контакты с официальными лицами, представителями советских организаций и ответственными сотрудниками ССОДа, БММТ «Слугник» Вебер активно использует для легального сбора любой информации, которая представляет интерес для спецслужб ФРГ [...]

Это тоже одна из сторон деятельности фирмы — попытка собрать вокруг себя всех, кто покинул СССР в разное время и по разным причинам. Проще говоря, консолидация и концентрация антисоветских элементов. Не чурается Вебер и контактов с творческой интеллигенцией [...] Прощупывая их настроения, Вебер в то же время озабочен поиском непризнанных «гениев» — художников и прочих, которых можно было бы поднять на щит за кордоном. Впрочем, не исключена и их переброска путем организации фиктивных браков с иностранцами [да не позарится на вас, г-да Симановский и Щербаков, никакой западный мужчина! — И. С.] и иностранками.

Однако, вероятно, такова натура подобных нечистоплотных людей, что им трудно удержаться от уголовщины. И в Москве и [в] Ленинграде Вебер установил устойчивые связи с разного рода преступными элементами, лицами без определенных занятий [...]

О многом заставляет задуматься история этой фирмы ста недобрых дел и ее циничного хозяина. В том числе и о тех, кого коробит напоминание о бдительности [...] Мы встречаем хлебом и солью тех, кто едет к нам с интересом к стране, ее людям, обычаям. Но не тех, кто предпочитает путешествовать с камнем за пазухой.

## 2. 2. «ЕВРОПЕЙСКАЯ». (ПРОДОЛЖЕНИЕ). О ПРИЗНАННЫХ

За «Европейскую» мне присудили премию в виде колоды игральных карт. Валера не пришел на тусовку шестидесятников. На ней я выступил с речью, которую привожу:

Ах, какая попочка! Какáя...  
*Из стихов Н. А. Уперса*

Премия альманаха «Urbí» — первая в моей жизни. Если рассуждать диалектически, то придется не без грусти заключить, что в качестве первой эта награда оказывается и последней. Лауреатом в первый раз я уже никогда не стану. Я хорошо понимаю светлое беспокойство невесты, которую накануне брачной ночи внезапно озаряет та непреложная истина, что нельзя лишиться невинности дважды. А что она должна испытывать, если она, подобно мне, перезрела? Если ей стукнуло пятьдесят семь лет? Представляете себе, с какой силой должно пронзать засидевшуюся в девках новобрачную тревожное понимание того, что то, о чем она так долго мечтала и что вот-вот произойдет, впредь не повторится? И учтите к тому же, что невестится под старость лицо мужского пола. Что оно далеко не Ваня Смуров, у которого, как у Ганимеда, отрастали крылья и которого уносили с собой извращенные мальчишеские сны.

Таково было мое, несколько взвинченное, эмоциональное состояние, когда я начал обдумывать речь, каковую сейчас произношу. Чтобы снять бесплодное напряжение, в которое я в тот момент впал, разрываясь по-структуралистски между полюсами оппозиций: между первым и последним, молодостью и старостью, женским и мужским, я решил вовсе избавиться от себя и прибегнуть к поддержке тех, кто не переживал моих метаний и прославился в раннем возрасте. Мой выбор пришелся на Камю. Его нобелевские выступления, ходившие по Питеру в списках в те же хрущевские времена, в которые на прилавки книжных магазинов были выброшены «Советы молодым супругам», когда-то ошеломили мое пробуждающееся самосознание. О чем, собственно, говорил Ка-

мю в Стокгольме и Упсале в 1957 году, я постыдно забыл. Попытки восстановить в памяти прочитанное почему-то явили ей стихотворение Брюсова «Гребцы триремы». Вместо позднесоцистических экзистенциалистских поучений до меня донесли декадентские трюмные песни, которым, якобы, мало внимает мир. Пришлось сызнова взяться за Камю.

Фраза, которой Камю начал свое обращение к Нобелевскому комитету, мне очень понравилась. Она была столь разительно банальна, что могла бы принадлежать любому из вежливых смертных. Она низвергала Камю на мой уровень. Я имел на нее не меньше прав, чем он. Не мудрено, что мне захотелось украсть ее, что я и делаю. В похищенном я сменил только имя адресата:

«Честь, которую мне оказали издатели альманаха «Urbі», вручив мне премию, вызвала во мне как глубокую благодарность, так и ощущение несоразмерности этого отличия с моими заслугами».

Следующее за сим высказывание Камю подняло во мне то чувство самодовольства, что отличает идейного экспроприатора-интертекстуалиста от замученного дискурсивной совестью разбойника, который промышляет плагиатом. Я обнаружил, что граблю грабителя. Вот эти слова:

«Каждый человек и тем более каждый художник вынашивает желание быть признанным».

Камю, нечистый на руку похуже, чем я, цитировал Гегеля без ссылки на то, что «признание» было одним из основных понятий «Феноменологии Духа». Не стану рассказывать в деталях о том, как я торопливо долистал до конца оба выступления Камю; как я наткнулся на то место, где он сравнивает пишущую братию с галерниками, закованными в цепи истории; как я, дойдя досюда, с горечью констатировал, что и он, и Брюсов в «Гребцах...» выбивают капитал из того самого Кнехта, которого Гегель уже вроде бы освободил от трудовой повинности, даровав ему надежду на приобщение Абсолютному Духу; одним словом, о том, как меня потянуло к первоисточнику — прочь от подражателей, способных только запутать читательскую память тем, что сообщают разоряют чужое интеллектуальное достояние. (Моя интертекстуальная совесть требует от меня прибавить к Гегелю еще один источник, из которого черпал Камю, — «Путешествие на край ночи» Селина, где изображается переезд писателя из Африки в Америку как рабский труд гребца на галере. Но это просто к слову пришлось.)

Итак, почти на бегу простившись с Камю, я ухватился за «Феноменологию...». Что хотел сказать Гегель, полагая, что человека определяет стремление быть признанным, вряд ли когда-либо потеряет для меня ту зачаровывающую при-

влекательность, которой обладают трудно разрешимые загадки. Чем темнее текст, тем более он принуждает реципиентов лишь воспроизводить его во множестве дурных копий, смазывающих с трудом доступный для постижения смысл оригинала. Занявшись Гегелем, я простил Брюсову и Камю их несамостоятельность. Соображения Гегеля примерно таковы. У самосознания нет иного выхода из себя, кроме желания. Вождедель же самосознание может только признания. Больше ему желать нечего, потому что оно существует в-себе и для-себя. Чтобы быть признанным, сознающий себя субъект заинтересовывается позицией Другого, то борясь с ним не на жизнь, а на смерть, то стараясь угодливо предвосхитить чужое желание, но в конце концов достигая в мыслительной работе того пункта, в котором становится ясно, что стремление быть признанным выражает собой в индивидуальном порядке всеобщий Дух авторефлексии.

Ну, хорошо, согласимся с тем, что мы сознаем в себе наличие сознания, хотя наше бессознательное этому и сопротивляется. Умолчим о том, что самосознание, делая сознание объектом, оказывается чем-то в высшей степени неадекватным, раз сознание — привилегия субъекта. Не пророним ни слова по поводу того, что самосознание, извращающее свой предмет, не может стать Абсолютным Духом. Предпримем здесь ерочё (без хе-хе-хе). Сосредоточимся на проблеме признания. Каков пол того Другого, с кем воюет самость и чей интерес она пробует постичь? — спросим мы Гегеля. И что за пол у самой самости? Предположим, что она — мужчина. Если и Другой не баба, то какую роль придется тогда разыгрывать мужчине, чтобы сервильно ублажать контрагента? Если же Другой не другой, а другая, то с какой стати представитель сильного пола должен до смерти преследовать ее, рискуя при этом собственной жизнью? Не буду обсуждать все комбинаторные возможности, которые получаются из превращения героев абстрактного гегелевского рассказа в мужчину и женщину. И без этого очевидно, что с Гегелем не все ладно. Ой, Гегель, Гегель! Как это марксизм-ленинизм не заметил его латентного гомосексуализма?! Или, напротив, учуяли Маркс с Энгельсом, Ленин с Чичериным и Сталин с Ежовым, куда тянет Гегеля, но злокозненно утаили научное открытие от народов мира? Не подавляй автор «Феноменологии Духа» своей порочной страсти, был бы его текст и для разумения доступней, и от противоречий свободней. И не нужно было бы Гегелю рисовать разрушение в виде сохранения разрушаемого. А будь каждый собой, то и имитаторов бы не было.

Осознав, что в гегелевском «признании» содержится изрядная доля мужеложества, я сначала не поверил себе.

Как честный филолог я обратился к комментаторам. Самым авторитетным из них был Кожев, проповедовавший «Феноменологию Духа» во Франции. Знакомый с русским гегельянством по Бакунину и Ленину, я ожидал от Кожева революционности. Ан, нет! Кожева волновало не восстание Кнехта, его занимало признание. Быть признанным и быть влюбленным, считал Кожев, одно и то же. «Любить, — писал этот поклонник Гегеля, начитавшийся в юности и Вл. Соловьева, — значит: осуществлять синтез между единым и всеобщим». То есть как же «и всеобщим»? — возопил во мне здравый смысл. Даже допустив, что любящий (любящая) обоготворяет в предмете своего влечения весь противоположный ему (ей) пол, что крайне сомнительно, ибо тогда ему (ей) как раз и незачем было бы влюбляться, следует трезво констатировать, что он (она) не распространяет охватившее его (ее) чувство и на пол, к которому он (она) принадлежит. Совершенная сизигия, взгляни мы на нее с сексуальной точки зрения, воплотима только через anus. Я настаиваю на этой трактовке сизигии. Задний проход делает различие между мужчиной и женщиной несущественным. Войдя в anus, можно, действительно, приобщиться человечеству. Зададим себе вопрос, о чем думал Кожев, толкуя Гегеля? Ответ на этот вопрос не вызвал бы затруднений и у ученика младших классов. Ваня Смуров, скажи-ка нам, почему Кожев был равнодушен к Сталину? Правильно, мой милый мальчик. Кое-кто попытается убедить меня в том, что и fellatio есть средство для осуществления вселенской любви. Ну уж нет! Не согласен! Непрерывно разглагольствуя в течение почти 200 000 лет, мы пока ни на йоту не приблизились к сизигии. Чудес от ротовой полости, хоть эросом ее облагородь, ждать не приходится. Удержи меня, Господь, от высказываний о крикогубой Монике. Ну, ошибся Клинтон, общнувшись с народом. Ну, не туда ему ввел. Простим ему, присоединившись к американскому конгрессу, эту ошибку.

Каккая известно, Лакан заразился гегельянством не без посредничества Кожева. Мне неловко пересказывать Лакана. Превозмогая конфузливость, я коснусь его представлений о детях лишь бегло. Во-первых, нужно отметить, что этот психоаналитик думал исключительно о мальчиках. Именно они обнаруживают, что у мамы нет пениса, и затем вступают с этим знанием в мир желания. Оно предполагает восполнение нехватки. Изумление у несовершеннолетних вызывают, стало быть, женщины, не ставшие мужчинами. Пусть так! Что происходит с девочками, Лакана не волновало. Есть ли и у них желание? Похоже, что нет. Как теоретик я был бы готов поверить Лакану. Беда, однако, в том, что я был женат три раза и могу с уверенностью утверждать, что Лакан не со-

всем прав, приписывая желание одним мужчинам. Может быть, даже и совсем не прав, скажу я, исходя из моего опыта. С ног на голову семейную жизнь поставил! Простите! Спокойствие! Перейду ко второму. Мало того, что ребенку видится мама с мужским половым органом. Он еще требует от отца быть признанным. Рисуя эту ситуацию, Лакан изобрел для нее название: «Le nom du père». Я прошу вас вникнуть в его идею. Чтобы снабдить женщину тем, чего у нее нет и быть не может, чтобы избавить ее, страдалицу, от нехватки (хуя, дамы и господя, хуя!), дитятка должен понравиться мужчине. Мать честная, зачем же я жизнь на баб угрохал?

Не скрою, ознакомление с тем, как верткая европейская мысль схватывала признание, смутило меня. Я разочаровался в европейцах, философичных и гомосексуальных одновременно, начиная с Платона, мысливших, говоря на языке родных осин, через жопу. Status naturalis — вот что спасет нас от перверсий диалектики, освободит наше тело от той мнимой свободы, которую оно учреждает, когда нарушает биологическую норму, — к такому выводу пришел я, и он остался бы непоколебимым, не попадись мне тут же под руку статья Льва Штернберга о том, как добиваются признания сибирские шаманы. Они, оказалось, меняют пол, чтобы стать привлекательными для богов, которым наскучило иметь дело только с мужчинами и только с женщинами. Не хотелось бы поправлять Фейербаха, да приходится. Не всеилию нашего разума обязаны своим существованием боги. Без их каритативной помощи не удалось бы человеку выебать самого себя.

Пора подвести итоги. Быть признанным, согласно и шаманской практике, и философии, означает: иметь второй пол. Вернусь к годам моей юности. Уверен, что Хрущев читал в шахте, стремясь к свету из пещеры, Платона. Иначе было бы трудно объяснить, почему он назвал художников «пидарасами». Несомненно, что Хрущев следовал здесь тому определению совершенства, которое было дано в «Пире», хотя и придавал двуполости отрицательную коннотацию. Как бы то ни было, Хрущев придерживался того мнения, что у стремящихся к признанию московских живописцев, которые устроили выставку в «Манеже», была сексуальная цель, не сводимая к увековечиванию рода. Понять Хрущева, понять шамана, понять Платона, понять Гегеля и его продолжателей в XX в. и понять, позволю я себе философское обобщение, homo sapiens (per anum) — это ведь одно и то же. Я никогда не дошел бы до этого соображения, если бы ему не дала повод премия альманаха «Urbis». Спасибо! Нет, я не иронизирую. Право слово, спасибо!

Мюнхен  
1998

### 3. 1. ТВОРЧЕСТВО ДО ТВОРЧЕСТВА. ДОВЛАТОВ В ПОИСКАХ РОЛИ

Пишущий воспоминания — собственник без имущества, владелец того, что не принадлежит никому: прошлого. Мемуаристу, как бы ни были благи его намерения, нельзя доверять (по меньшей мере, вполне): ему хочется распорядиться растроченным капиталом словно звонкой и хрустящей наличностью. Но упрекать его за это имело бы смысл только в том случае, если признать, что факт ценнее текста, что созерцание выше воображения, что у жизни есть преимущество перед творчеством.

Для большинства моих друзей такой ценностной иерархии не существовало. Может быть, поэтому поколение и начало хворать и редеть до срока — оно растранило жизнь, лишенную им приоритета, с той же методичностью, с какой люди восьмидесятых, пришедшие ему на смену, поглощают здоровую пищу, борются с курением и пользуются презервативами, продлевая, впрочем, не столько бытие, сколько старость — его угасание.

«We were avid readers and we tell into a dependence on what we read». Я бы не стал спорить с этим обобщением, если бы за «мы», подразумеваемым самозабвенных читателей, не стояло «я» лучшего из поэтов нашего возраста. Читали и впрямь запоем. Но не ради чтения самого по себе. Для того, чтобы приобщиться писательству, пусть не имея своей темы и собственного приема. Я помню одно из первых стихотворений Бродского: оно — о стихах до стихов, о любви до ее начала:

Я очень часто несу чепуху,  
Пишу плохие стихи.  
Ношу пальто на рыбьем меху,  
Холодные сапоги.

Теряю друзей, наживаю врагов,  
Плачу за газ и за свет,  
А кроме того, ищю любовь,  
Которой все нет и нет.

То, что нам досталось в наследство от сталинской эпохи, был авторитет литературы. Никогда прежде до тоталитариз-

ма литература не поднималась на ту высоту, на которую ее возвели премии, носившие имя вождя; дары и гонорары, делавшие писателей едва ли не самыми зажиточными людьми в стране; идеологические кампании, ставившие то одно, то другое произведение — вне зависимости от того, чернилось ли оно или превозносилось, — в центр внимания всей страны. Культ Сталина кончился — мы обеспечивали непрерывность истории, исповедуя культ литературы.

Довлатов вместе с двумя-тремя друзьями сидел на университетской скамейке, мимо которой шла вверх по лестнице толпа, и хохотал без видимой причины. Выяснилось, что шла игра. Выигрывал тот, кто первым выхватывал из проходивших мимо странного человека — почесывающегося, подпрыгивающего, бормочущего себе под нос, закатывающего глаза и мало ли еще как не замечающего, что за ним наблюдают. Литература надвинулась на меня в той осязаемости, которая не нуждалась в том, чтобы быть закрепленной словом. Мы острашение учили не по Шкловскому.

Поступок ценился тогда, когда он поддавался новеллистическому пересказу, развлекающему слушателей. Когда невеста убегала сразу после многолюдной свадьбы к другому. Когда путь из университета вел в лагерную охрану. Расписывали масляными красками заднюю стенку шкафа, за которым спали, чтобы пробуждение не сразу толкало нас носом в быт. Неудачно инсценировали. Довлатов стрелял из двухстволки в потолок, чтобы вернуть ушедшую женщину к мнимому трупу самоубийцы. Вместо раскаявшейся женщины к Сереже, обсыпанному штукатуркой, вбежали напуганные охотничьей пальбой в квартире соседи. Чем была бы литература, если бы ее не оправдывали страдания писателя? В разыгранном самоубийстве проглядывало то всамделишное жертвование собой, без которого художественное слово было бы простой ложью. Складывалась этика, которую можно было бы назвать новой, если бы этика не была тем, что не допускает никакой новизны. Разрешалось все, что было творчеством. Довлатов придумал для нашего поведения термин: «подонкизм».

За олитературенной жизнью последовала жизнь в литературе. Но это другая тема. Страшно доводить воспоминания до конца. Изложишь их на бумаге — и не будет у тебя прошлого, отданного на чей-то случайный суд. Но ведь было же оно.

*В поезде Геттинген—Гамбург  
1990*

### 3. 2. ДОВЛАТОВ КАК РАССКАЗЧИК

В августе 1990 года я отдыхал на Кипре вместе с Сашей Пятигорским. Мы, приглашенные на Кипр Васей Франком, который по семейной традиции любил философов, жили в горах, километрах в пятнадцати от всех благ цивилизации, в том числе и от телефонной будки. Однажды мы лежали каждый в своей комнате, спасаясь от дневной жары, и читали. У меня остановились часы. Это был дурной знак. Они останавливались и прежде — и каждый раз это означало, что не батарейка села, а умер кто-то из близких мне людей. Я бросился в верхнюю Сашину комнату и рассказал, что произошло. Саша обругал меня мистиком, обвинил в суеверии и погнал прочь. Как философ Саша много занимался теорией сознания — остановка моих часов не имела к сознанию ни малейшего отношения. Как индолог Саша пытается понять буддизм изнутри, т. е. верит вместе с буддистами — и поэтому должен был считать мое заявление результатом непросвещенного, ошибочного западного мышления, способного лишь имитировать настоящую веру. Надо сказать, что Сашина ругань успокоила меня, я вернулся в свою комнату и принялся снова за американскую книжку. Приблизительно через полчаса ко мне ворвался Саша с искаженным лицом и сказал, что и у него остановились часы. Мы ринулись к «Subaru» и покатали к телефонной будке. Я позвонил в Мюнхен жене, которая сообщила, что она только что разговаривала с совсем незнакомым человеком из Нью-Йорка, передавшим ей, что умер Сережа Довлатов.

История, которую я излагаю, может показаться невероятной. Но у меня есть два свидетеля — Пятигорский и моя жена. Самый мой рассказ не самоцелен. Плевать, верят мне или нет. Он важен мне как случай новеллистического построения. Очень многие новеллы организуются так, что второе из описываемых в них событий, казалось бы, никак не может повторить первое — и тем не менее повтор происходит. Так структурирован, например, пушкинский «Выстрел». Мы ждем, что Сильвио непременно отомстит Графу, совершит отложенный им дуэльный выстрел — однако он отказывается от мести и во время повторной дуэли. К этому

типу новеллистического повествования принадлежит также «Шинель». Первая шинель Акакия Акакиевича приходит в негодность. Ее нужно заменить. Но герой не становится владельцем и второй шинели: ее с него снимают. Новелла изображает не одно событие, как полагал ее теоретик Петровский. Ей нужны, как минимум, два происшествия. И кроме того ей необходима абсолютная концовка — постистория, которая, в сущности, ничего не меняет в рассказанной истории и показывает, что дальнейший процесс рассказывания в принципе избыточен. В «Выстреле» подобной абсолютной концовкой оказывается стрельба Сильвио по картине (герою удастся поразить пулю Графа, но мы и без того знаем, что он меток). В «Шинели» последний момент — грабежи, которые учиняет мертвец (если новелла имеет продолжение, то оно вообще уводит из нашего мира). Что касается той новеллистической истории, которая разыгралась с часами на Кипре, то ее абсолютная концовка состояла в том, что этой историей была возвещена смерть новелиста.

Итак, новеллы случаются и в жизни. С этой точки зрения несущественно, выдуманы или нет те истории, которые составили основу довлатовской «Зоны». Важно, что преподносимое читателю как жизнь имеет новеллистическую событийную структуру. В «Зоне» речь идет о двух мирах, максимально противопоставленных друг другу: они разделены колючей проволокой, по одну сторону которой находятся лагерные охранники, а по другую — заключенные. И все же события в одном из миров воспроизводят то, что случается в альтернативном. Например: охранник из эстонцев Пахапиль время от времени приговаривает: «Настоящий эстонец должен жить в Канаде...» Пахапиль думает о своей подруге Хильде. Заключенный Макеев влюблен в школьную учительницу Изольду. Макеев бросает ей из рядов колонны самодельный мундштук. Описание этого события завершается словами: «Сидеть ему оставалось четырнадцать лет...» Инструктор-собаковод Пахапиль тяготится несвободой так же, как и преступник Макеев. Подобного рода примеры можно было бы умножать и умножать. Вот еще один из них. Сидящие в лагере жарят котлеты. Они зовут присоединиться к их кушанию надзирателя. Когда он пробует угощение, выясняется, что жарена была любимая собака его начальника, капитана Токаря.

Рассказчик в «Зоне» полностью отдает себе отчет в том, на каком принципе зиждется все его повествование. Он пишет издателю: «Я обнаружил поразительное сходство между лагерем и волей. Между заключенными и надзирателями [...] Мы были очень похожи и даже — взаимозаме-

няемы». Оригинальным в «Зоне» выступает как будто лишь жизненный опыт автора, служившего в вохре. Отбор же событий, вводимых в новеллистическое отношение, вполне традиционен. Но этими двумя утверждениями не следует ограничиваться, если начать разбираться в том, как микроистории «Зоны» связываются между собой в макроисторию. Рукопись «Зоны» якобы осталась в Советском Союзе после того, как ее создатель эмигрировал. Она приходит автору кусками из Франции. Получит ли автор очередной кусок своего текста, отснятого на микропленку, неизвестно. Процесс повторения рассказывания нельзя предвидеть. Однако повествование продолжает воспроизводить себя. Несостоявшаяся возможность обрыва повествования — классический прием, с помощью которого новеллы объединяются в циклы. Так сделаны и «Декамерон», и «Тысяча и одна ночь». Но между классическими собраниями новелл и «Зоной» есть существенное различие. В традиции угроза зависит над рассказчиком или рассказчиками. У Довлатова — над самим рассказом. Здесь я подхожу к тому, что считаю оригинальным вкладом Довлатова в новеллистику. Он перенес идею повтора, которого вроде бы не должно быть, из области изображаемого в область изображения. Не только события новеллистически информативны, но и информация о них новеллистически событийна. Сам акт коммуницирования оказывается в данном случае новеллистическим. Новеллистична, можно сказать, текстура «Зоны». Жизнь (или то, что за нее выдается) и текст смешиваются в неразложимое целое. В 70—80-е гг. русская литература предприняла ряд радикальных поворотов. В частности, она поставила под сомнение самое существование литературы. В романе Сорокина «Роман» герой повествования по имени Роман впадает в безумие, зверски уничтожает всех жителей идиллического места, где происходит действие, и сам погибает. Текст Сорокина основывается на прозопопее, которая сообщает читателю о смерти того жанра, к каковому данный текст принадлежит. Довлатов тоже радикален. Но это радикализм эстета, а не антиэстета. Довлатов доводит до предела традицию, которая тянется от самых начал новеллистики. Он остается в рамках этой традиции. И в то же время он демонстрирует, как она может быть исчерпана, как она может обрести свой максимум, которым становится в «Зоне» превращение рассказывания о новеллистически релевантных событиях в новеллистически релевантное рассказывание.

Помимо того типа новелл, о котором говорилось, есть еще один тип. В этом втором случае внезапность возникает в новеллистическом сюжете оттого, что одно и то же дей-

ствие имеет в нем два противоположных значения. Мы сталкиваемся с неожиданностью либо тогда, когда повтор совершается, несмотря на то, что его не должно быть, либо тогда, когда повтор ведет к достижению взаимоисключающих результатов. Этим последним приемом пользуются самые разные новеллисты, в том числе и Пушкин в «Пиковой даме». Германн встречается с графиней у нее дома, когда она отказывается выдать тайну трех карт, и еще раз, в странном видении, в котором старуха раскрывает секрет. Затем эта ситуация воссоздается в порядке зеркальной симметрии: Германну везет в карточной игре до тех пор, пока он, по выражению Пушкина, не «обдергивается» и не выбирает вместо туза даму.

Довлатов обращается к второму из названных способов развертывания новеллистического сюжета в «Компромиссе». «Зона» и «Компромисс» в этом плане — дополняющие одна другую книги. Но в «Компромиссе», как и в «Зоне», правила классического новеллистического сюжетосложения обретают специфически довлатовское преобразование. «Компромисс» держится по преимуществу на конфликте двух текстов, из которых один появляется в свет в советской периферийной газете, а другой пишется в эмиграции и излагает действительную подоплеку событий, упоминавшихся в первом. В газете «Советская Эстония» печатается, скажем, информация о рождении четырехсоттысячного жителя Таллина, которого родители называют Лембитом. На самом деле никто не может знать, какой именно ребенок станет четырехсоттысячным жителем эстонской столицы. Журналист, посланный на задание, ждет в родильном доме подходящего кандидата. Первым оказывается сын эфиопа, вторым — сын еврея. И только третьим, уместным в газетном сообщении ребенком, становится сын русского и эстонки, но отец не желает называть его Лембитом, и журналисту приходится убеждать родителя, пьянствуя с ним и давая ему взятку. Ясно, что Довлатов стремится в «Компромиссе», как и в «Зоне», пропитать новеллистичностью коммуникативную ткань текста. Слово для Довлатова — уже новелла. Он был дизайнером медиальных средств, верным своему времени, абсолютизовавшему их. Как сказал Маклюэн: «Medium is message».

В предпоследний раз я встретил Сережу на Невском. Он только что отсидел пятнадцать суток, к которым его приговорила гэбуха с тем, чтобы скомпрометировать отъезжающего в Америку писателя как мелкого хулигана. Сережа был подавлен, но не отсидкой, а предстоящим отлетом. О том, как он покидал Ленинград, он ничего не написал. По-

тому что, думаю, новелле нужен ошеломительный повтор. Довлатов же знал, что он больше никогда не вернется на родину.

В последний раз мы увиделись незадолго до Серезиной смерти у меня в Мюнхене. Сереза непил. «Здравствуй, дедушка цирроз», — приговаривал он. Когда мы сели ужинать, ко мне без спросу начали приходить люди со «Свободы». Они глядели в рот Серезе, который шутил без перерыва. Все шутки были заранее заготовлены. Ни мой друг, ни я не отличались способностью импровизировать. Гринблат считает, что импровизации вошли в моду в эпоху Ренессанса, когда человек, расставшись со средневековой зависимостью от подражания Христу, обрел вкус к self-fashioning. За плечами у нас с Серезей были сталинские пятилетки. Наше хозяйство еще оставалось плановым. Вечер закончился тем, что моего гостя куда-то увели тешить дальше публику. Сереза старался, чтобы его устное повседневное общение с друзьями в каждом его высказывании было бы остроумным и смешным. В этом старании можно было бы распознать нечто искусственное, если бы оно не реализовало собой все тот же принцип, которым руководствовался и Довлатов — создатель «Зоны» и «Компромисса», а именно: внезапно должен поражать не только мир реальных, но и — всегда — сказанное о нем.

*Мюнхен  
1998*

## 4. 1. ПАМЯТИ ОДНОГО СТУКАЧА

Я прошу прощения у читателей за то, что начну этот очень личный текст в отвлеченной манере. Наверное я отсрочиваю момент душевной боли, которая сопровождает мои воспоминания в данном случае.

Постмодернизм в лице Фуко вряд ли был вполне справедливым, отнимая у автора *copyright* и приписывая творческую мощь безликим дискурсам. У идеи безавторства, господства текста над тем, кто его создает, есть авторы — Фуко, Барт и иже с ними. И попечение об авторских правах, и интеллектуальное усилие отменить таковые точно датируются: первое возникло в XVIII в., второе приходится на 60-е гг. нашего столетия. Мы уже достигли, однако, конца этого века. Относительно (не безвременно) представление не только о ничем не ограниченной оригинальности автора, но и о его подвластности дискурсу. В своей исторической приуроченности любая идея, высказанная человеком о человеке, не абсолютна. Она противоречива, принадлежит истории, уходу в прошлое, поскольку субъект этого высказывания становится здесь своей противоположностью — объектом. Фуко вывел из этого обстоятельство известный тезис о том, что о человеке больше не стоит думать. Но если не думать о думающем, то придется вообще прекратить ментальный процесс, что, может быть, и желательно, поскольку он помещает нас в довольно-таки мучительную историю, но вряд ли достижимо, пока мы остаемся людьми.

Взаимодействие автора и дискурса драматично. В этой борьбе нет победителя. У дискурса всегда есть в запасе некая ниша для индивидуальности. Дискурс открывает автору возможность быть не похожим на тех других, кто уже работал в данной словесной области. Если нет непротиворечивых, не опровергаемых по ходу истории, конкуренции всех со всеми, идей, то третье всегда дано — как место, открытое для *любого* заполнения. Но с другой стороны, кому мы противоречим, споря с нам подобными, если не себе? Дискурс требует от нас послушания, соблюдения норм, подражания предшественникам, верности преданию. Подлинная власть, отправляемая здесь и сейчас, не имеет

дискурсивного выражения. И из-за этого она кажется себе недостаточной, перерастает в насилие (скажем, сталинское), потрясающее своей беспрецедентностью.

Есть правила мемуаров. Если говорить попросту, эти правила состоят в том, что мемуарист свидетельствует, явившись очевидцем неких событий. Он может при этом говорить правду или лгать, но, как бы то ни было, дискурс воспоминаний сильнейшим образом отдает судебным процессом. Мемуарист — малый антихрист, предвосхищающий Страшный суд. Мне не удастся избежать в дальнейшем юридического тона, хотя и очень не хотелось бы задавать его. Но и дискурсивная ниша у меня есть: задерживают в коллективной памяти, как правило, значительное, принадлежащее большой истории; я же собираюсь рассказать о ее убегающей в незаметность периферии, почти о ничто, о бесследном.

Майкл — назовем моего героя так — был другом моей юности, мы учились на одном курсе в университете. Мы дружили, рассорились из-за женщины и потом снова сошлись. То, что я только что написал, банально лишь по причине того, что в русском языке нет определенного артикля: женщина, из-за которой мы соперничали в восемнадцатилетнем возрасте, была *the woman, die Frau, la femme*. Позднее ею соблазнилось немало лучших писателей 60-х гг., и один из них, в ту пору еще безвестный, даже женился на ней, проведя в браке, правда, всего лишь ночь: не совпали *up* и *la*. Речь, однако, идет о конце пятидесятых. Что мы с Майклом снова связали судьбы после распри, было некоей, как я теперь понимаю, компенсацией за общее поражение, которое нанесла нам *la femme*. В так называемых *gender studies* хорошо исследована психика женщин. Странным образом психика мужчин изучена плохо. И Фрейд, и Лакан понимали ее как общечеловеческое достояние, стирая ее своеобразие. Оно, я думаю, заключено в биоархаичности сильного пола. Мне кажется, что мужчинам нельзя сойтись без посредницы или без посредника. Прямые — без медиаторов — отношения между мужчинами выливаются в борьбу на уничтожение. Маскулинизированная культура прячет в себе животное соревнование самцов, а не подавление женщин. Мужская дружба — распространенное извращение, даже если она и не доходит до гомоэротизма.

Что еще могло нас сблизить, кроме влюбленности в *la femme fatale*? Не знаю, что двигало Майкла ко мне, скажу только о себе: меня восхищала его пронизательность. Майкл исходил из того же, что Шеллинг и Гегель, не читав этих философов, — из предположения о первоначальности Зла. Он считал, что люди плохи и поэтому вынуждены, чтобы

ужиться друг с другом, разыгрывать органически несвойственные им социальные роли. В сущности Майкл боялся социальности. Повального обмана, который предпринимает неискоренимое Зло. Надо сказать, что часто он был прав в своих разоблачениях, в своем цинизме. Эта его способность раскрывать тайну Зла очаровывала меня. Много позднее я дошел до мысли, что и разоблачение Зла не есть Добро, пусть даже в срывании масок кроется истина. Я отчетливо осознаю теперь, что в демистификации Зла самого Зла не меньше, чем в демистифицируемом. Как можно проникнуть в Зло, не неся его в себе?

Как может Деррида обвинять всю европейскую философию во лжи, не задавшись вопросом, а не фальшивит ли он сам? Отказавшись от того, что Пастернак называл «жизнью в истории», увлекшись деконструкцией человека исторического, постмодернисты 60-х гг. расстались с всегда сопутствовавшей порождению текстов мыслью о том, что творческий (он же исторический) акт позволяет совершившему его присутствовать среди других творцов и после отсутствия, после смерти. Немудрено, что, потеряв бессмертие, уступив свою вечность дискурсам, авторы хором заговорили о том, что у авторов нет индивидуальности.

Нас с Майклом тянуло друг к другу, вероятно, и то, что мы оба попали в не наше время. Наши психические механизмы работали не в лад с психикой послесталинских талантов, окружавших нас в большом количестве. Все вокруг нас были гениальны. Мы остро чувствовали нашу нереализованность, незатребованность временем. Впрочем, по-разному. По воле случая мы с Майклом попали в редколлегию стенной газеты «Филолог». Я тут же побежал к Бродскому и тиснул в «Филологе» его стихи. Я самозабвенно восхищался теми, чей дар слова совпал с эпохой. Многометровое полотнище «Филолога» не провисело и часа. Редколлегию разогнали. «Мудак, — сказал мне Майкл после этого события, когда мы подошли к его дому, кстати, располагавшемуся напротив дома Мурузи, где ютился Бродский, — ты, что, не понимаешь, где живешь?» Мы оба сохранили нашу юношескую отчужденность от нашего поколения: я начал заниматься теорией и философией истории, выбрав себе позицию вне и помимо всяких поколений, Майкл стал стукачом, погружившись в анонимность, которую никто никогда не выведет на свет в деталях.

Вот как это случилось. После окончания университета мой друг оказался безработным. Он сунулся на телевидение — из этого ничего не получилось. Тогда ему не осталось ничего лучшего, как стать воспитателем в общежитии

ПТУ. Однажды я зашел к нему на службу. Его подопечные ужинали в столовой. Я сидел во дворе, дожидаясь Майкла, насыщавшегося пэтэушной пищей. Первыми из столовой вывалились трое угреватых юношей, которые походя опрокинули запаркованный во дворе «Москвич». За ними появился ничего не подозревающий Майкл. Он вытирал тыльной стороной ладони жирные губы. Когда я указал ему, ни слова не говоря, в сторону поваленного автомобиля, он крикнул мне: «Бежим!» — и мы побежали, как если бы мы были преступниками. Не найдя себе применения в Ленинграде, Майкл женился на москвичке, обладательнице квартиры на Колхозной площади. Уборной в квартире не было. По малому делу можно было отнестись к соседям. Тайну больших дел молодая семья не выдавала. Когда мне приходилось ночевать в этом помещении, я крепился, ставя себе в пример индейцев, которые, согласно увлекавшему меня тогда Леви-Строссу, отправляли большие дела только поздно вечером, после того, как заканчивали полевые работы. Чтобы довести до конца объяснение мотивов, по которым Майкл затесался в сексоты, нужно добавить, что он был полукровкой. Евреем был его отец, бравый капитан первого ранга, метивший в контрадмиралы, чему помешал ранний инфаркт (флот, говорят, не был заражен антисемитизмом в той степени, в какой он был свойствен другим советским учреждениям). В Москве Майкл устроился журналистом, но ходу наверх ему как таящему в себе еврейскую кровь, пусть и офицерскую, не было. Ипполит в «Идиоте» говорит, что иногда существование принимает унижающие человека формы. Насколько я знаю из рассказов нашего общего друга, не Комитет нашел Майкла, как это обычно бывает, но Майкл сам предложил ему в сотрудники. Я бы приветствовал свободный выбор, если бы любой выбор не обрекал нас на несвободу. После того как сделка состоялась, Майкл сменил жену, квартиру и вскоре стал преуспевающим корреспондентом в Праге. На кого он писал «объективки», на русских ли за границей или на чехов у себя дома, я не знаю. Скорее всего, и на тех и на других: чем разностороннее агент, тем он более ценится по начальству. Ежедневно пить Майкл начал еще в Ленинграде, когда стал воспитателем в ПТУ.

За Прагой последовало заведывание корреспондентским пунктом в Белграде. В промежутке между двумя назначениями Майкл жил в Москве. Я как раз собрался эмигрировать. Мне нужно было обдурить КГБ, и я решил использовать для этого Майкла. Стол в его квартире на одной из Грузинских был уставлен водкой и шампанским. Я сказал моему товарищу, что собираюсь жениться на немке, но хочу при этом

остаться в России. Второе из этих заявлений было ложью. Говоря так, я добивался того, чтобы мне и моей будущей жене разрешили акт бракосочетания. Майкл с напряженным интересом выслушал меня и надолго удалился в ванную комнату, пустив там воду. Он вышел оттуда с лукавым лицом. Он рассчитал на много лет вперед. «Но ты меня не забудешь», — сказал он. Брак состоялся. Полтора года после него я, впрочем, просидел в отказе, затем тогдашний канцлер Шмидт добился в личном разговоре с Брежневым того, что меня выпустили на волю. Перед моим отъездом из России Майкл предупредил меня об обычаях Комитета: «Полгода за тобой будут следить в Мюнхене». Что и подтвердилось. Повествовать о том, как это делалось, неинтересно. Возвращения долга Майкл потребовал от меня много позднее, в годы перестройки. Он попросил меня устроить его на «Свободу» или в немецкий государственный институт по делам Восточной Европы. Я отказался помогать ему. Он ответил мне письмом, где сравнил себя с нищим, которому очередь в пивной ларек не захотела пожертвовать кружку пива. Стукачом был он, нарушителем святого правила взаимности был я. У меня были для этого причины, о которых я скажу ниже. Оправдывают ли они меня? Как вернуть долг? — Майкл умер от острой сердечной недостаточности, не допозвняя до телефона.

Я вовсе не намерен идеализировать стукачей, даже и по старой дружбе с одним из них. Когда я обосновался в Мюнхене и начал регулярно посещать городскую библиотеку, я обомлел от удивления. Разоблаченный в «Хронике текущих событий» предатель с давним стажем издавал в Канаде журнал, в котором поносил Бродского. Я немного знал историю этого человека, да и его самого тоже. Его посадили по политическим мотивам еще при Хрущеве. После выхода из лагеря он защитил две кандидатские диссертации — одну о Хосе Марти, другую об Игоре Северяnine. Его жена, комсомольская активистка, сбежала на Запад во время посещения Италии. Моего тогдашнего приятеля и нынешнего члена Российской Академии наук вызвали в Большой дом, поскольку он дружил с мужем перебежчицы, и зловеще сообщили ему, что автор двух диссертаций не останется без наказания. Оно оказалось разрешением на воссоединение семьи.

Андропов наводнил Запад агентами влияния из числа бывших или искусственно созданных диссидентов. Эти люди писали лагерные воспоминания, в которых убеждали еще пребывающих в заключении не передавать на Запад их жалобы, а посылать их в Верховный Совет. Они сочиняли романы, в которых поливалась грязью московская интеллигенция, собиравшаяся в мастерской Эрнста Неизвестного, а

также публицистику, в которой вся эмиграция объявлялась результатом советского проникновения на Запад (автор этих текстов печатается ныне в «Правде»: когда я встречал его в Мюнхене в разных компаниях вместе с его женой, то эта пара всегда занимала по раздельности сразу два помещения, вероятно, чтобы знать болтавшееся эмигрантами в максимальном объеме). «Охотники вверх ногами» дружно издали книжки об Андропове и в Англии, и в Италии, и в США, и в других странах, когда тот пришел к власти (кажется, только израильская монография об этом человеке вне подозрений). Они стали специалистами по кремлевским тайнам (как, например, соименник величайшего русского философа или бывший глава московской комсомольской дружины, добившийся того, что он начал воздействовать на политические верхи Америки). Большинство этих знатоков советского строя, примешивавших к правде о нем политически выгодную ему ложь, сдунуло с интеллектуальной сцены Запада после того, как к власти пришел Горбачев. До того как Пятый отдел гзбухи распустили, они еще пытались досадить Горбачеву, предрекая перестройке скорый конец («сломают хребет», — написал о перестройщиках в «Suddeutsche Zeitung» тот, кто с женой следил за эмигрантами из разных комнат). О том, что такое агент влияния, создан замечательный французский роман «Монтаж» Волкова. Отсылаю читателя к этому произведению. Диссидентство обоготовлено поголовно — и зря. В значительной его части оно оказалось продажным. Было бы странно, если бы этого не случилось с людьми, которые попытались объединить в себе идеологию «Вех» и тех, кого этот сборник подверг уничтожающей критике. Упаси Господь, я не обвиняю всех диссидентов зараз. Это было бы так же глупо, как и представлять их без разбору святым воинством. Никаким доносчикам нет оправдания — и все же: стукач, сам напросившийся на эту роль, мне как-то ближе и понятнее, чем пошедшие на сделку с советской властью и подло агитировавшие за нее бывшие борцы с ней.

Майкл стал агентом секретной службы всерьез. Он радел изо всех сил, хотя и не был патриотом, предпочитая жить за границей. Но он внушил себе убеждение в том, что политическая система, в которую мы влипли, непоколебима, раз она не идет ни на какие уступки гуманности. Он спорил со мной о вечности советского социализма с каменной милой, в иных случаях ему несвойственной. Здесь ему не хватило философского чутья. Он не заметил того, что бесчеловечная система саморазрушаема именно ввиду ее бесчеловечности, ее антропологической необоснованности и что

он сам стал ее «колесиком и винтиком» только потому, что оказался быть готовым пожертвовать собой. Когда Горбачев довел начатый Сталиным подрыв советского порядка до логического завершения, Майкл растерялся.

В конце жизни Майкл полностью спился. Перед тем, как автор популярных в России детективных романов устроил его московским корреспондентом нью-йоркской газеты, он жил в Ленинграде. Поддержки при задуманном им переезде в Германию он потребовал от меня позднее. Каждое мое посещение родины не обходилось в эту пору без сложностей, чинимых мне КГБ по наущению Майкла. То меня досматривали на таможне с неизвестной мне прежде тщательностью и агрессивностью, то моим друзьям, работавшим в закрытых научных институтах, запрещали встречаться со мной, чего не бывало раньше, в мои предыдущие наезды в Питер, то гэбуха напрашивалась в мои собеседники. Я думаю, что все эти и им подобные дела были попыткой Майкла продемонстрировать власть, которой у него на самом деле уже не было.

Я простил тебе это, старик. Вот и долг вроде бы отдался. Когда я поправляю сползающие с переносицы очки твоим жестом, воздвигая их на место средним пальцем, мне кажется, что ты не умер.

## 4. 2. ПАМЯТИ ОДНОГО СТУКАЧА. (ПРОДОЛЖЕНИЕ). ДУРНАЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ ТЕКСТА

Когда этот некролог написан, моя жена воспротивилась его обнародованию. Женская прозорливость мистична и не поддается разгадке. Я уже давно в этом убедился. Но я догадывался об интуиции, свойственной противоположному полу, недостаточно. Правда, я согласился с мнением жены и решил положить текст, чем-то не пришедшийся ей по душе, в стол. Перед тем как похоронить некролог, я все же показал его Андрею Арьеву, который знал Майкла. Уже на следующий день «Стукача» набрали. Текст зажил собственной жизнью. Она вмешалась в распорядок моей и Ренатиной.

После того, как текст явился в свет, мне позвонил мой случайный русский попутчик по рейсу Амстердам—Петербург и сказал, что хочет со мной встретиться, чтобы подарить мне некое самиздатское сочинение 70-х гг., владельцем которого он является. Я никогда не занимался историей самиздата и был удивлен предложением. От подарка и от randevу я отказался. Затем я захворал — очень некстати, как раз в то время, когда в Питере происходила конференция, посвященная Довлатову. На ней я собирался прочитать доклад «Довлатов как рассказчик», помещенный выше. Вместо меня в Питер полетела жена с моим докладом. Вечером того дня, когда она получила в «Звезде» деньги, возмещающие ее траты на дорогу, она подверглась нападению в парадном доме, где жила. Это было не первое покушение на нее. Когда мы вступали в наш советский брак, на Ренату наезжали на автомобиле и запугивали ее также иными средствами. Всего тогда было четыре нападения. Похоже, что изъятие денег в парадном было намеком на то, что случилось прежде. За мной прекратили следить во время моих приездов в Ленинград в 1991 г., когда ликвидировали Пятый отдел. Пока я не наткнулся в «Литературке» на статью Игоря Теселкина из Саратова, я не знал, что и думать о вновь возникшем интересе гэбухи к моей семье.

Сразу же после того, как Андрей обнародовал в «Звезде» историю Майкла, в «Новом мире» с удивительной оперативностью была напечатана статья Никиты Елисеева, отреагировавшего на мое сочинение. Письмо редакторам «Звезды», Гордину и Арьеву, по поводу «новомирской» филиппики в мой адрес, так и не отосланное, прилагаю. Кусками прилагается и статья из «Литературки», объясняющая, как мне представляется, все, что произошло.

Дорогие друзья, Яков и Андрей,  
не откажите в любезности поместить в Вашем журнале нижеследующее:

В третьем номере «Нового мира» за 1998 г. я прочитал статью Никиты Елисеева, откликнувшегося на мою короткую заметку «Памяти одного стукача» («Звезда», 1997, № 10). «Новомирский» автор заканчивает свой пространственный критический отзыв обо мне словами:

«Здесь человеческий долг, возвращенный стукачу, превращается в долг, возвращенный организации, в которой стукач работал».

Если бы у меня была возможность встретиться с неизвестным мне Никитой Елисеевым, то я ударил бы его по лицу. По харе, говоря терминологично. Так и познакомились бы. Поскольку, однако, надежды на скорое свидание с зашателем нет, мне придется сдержать гнев и ограничиться словесной перепалкой.

Н. Е. «деконструирует» мой текст как набор «противоположных общих мест». Сам он *loci communis* оправдывает. На философском языке «общие места» называются доксой. В переводе на русский докса именуется пошлостью. Как бы мы ни называли это явление, у него, как и у всякого другого, есть сущность. Она состоит в том, что доксальный, он же пошлый, человек испытывает страх перед историей, боится изменений (слово «пошлый», как мне объяснил Дмитрий Захарин, этимологически связано со словом «прошлый»). Пошляк не верит в себя и держится «общих мест», чтобы иметь хоть чужой, да авторитет. С этой позиции в мой адрес и несется упрек в том, что я бездоказательно сделал Сталина ответственным за развал советского строя. О том, что я думаю по данному поводу, я писал в книжке «Психодиахронология. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней» (Москва, 1994, 275 и след.). В этой работе говорится о том, что тоталитаризм есть самоотрицание человека и что посему этот социальный строй не может не разрушать себя. Как Гитлер, уничтожая евреев, не щадил немцев, бросая их в котлы Второй мировой войны, так и

Сталин расправлялся с революционерами первого призыва, казня затем их палачей. Только докса, которая мало что видит, не глядя вперед, не имея исторической перспективы, может держать мою фразу из статьи в «Звезде» («...Горбачев довел начатый Сталиным подрыв советского порядка до логического завершения...») за недообоснованную. Зрение потому и преобладает над прочим чувственным восприятием у человека, что мы историчны, перспективны, зрим будущее. Слепота доксы — из ее обращенности в прошлое.

Не берусь судить о том, какой дьявол толкал под локоть моего оппонента, но должен признаться, что Н. Е., приписывая мне мнения, мной не высказанные, иногда прав. Слепой пошляк, пустившись в бой, наезжает не только на ветряные мельницы. Я, действительно, не верю в истину Нюрнбергского трибунала, о чем я вроде бы пока никому не сообщал и что вменил мне, не знаю по какой интуиции, в вину Н. Е. В Нюрнберге подсудимыми должны были бы быть и судьи: англичане, расхуячившие Дрезден, американцы, сбросившие две атомные бомбы на Японию, и русские, от злодеяний которых меня, как русского, тошнит. Я не верю в Страшный суд. Боюсь не его, а того, что его не будет. Гегель переопределил Страшный суд, в который упиралось христианство, так, что выносящей вердикт у него оказалась сама история. Слотердаjk переопределил Гегеля, написав двухтомник о лжи истории, которая штрафует прошлое. Пора перейти теперь к тому, о котором я писал и из-за которого разгорелся весь сыр-бор. Я не понимаю, почему у меня как у личности отбирается право на память о моем друге, пусть он и был сотрудником тайной полиции. Пока мы — в истории, любой суд не праведен. Зло, открывающее Зло, не есть Добро, повторюсь я. Я не считаю себя добрым, заразившись раз и навсегда Злом, пребывая в истории, каковой занимаюсь как ученый, зарывшись в кучу говна, если угодно, копаясь в мусорной свалке, на которую выбрасывается все, что когда-то было современным. Я думаю, что пока мы историчны, мы не в состоянии разделить Добро и Зло. Если мы добры, мы не проникнем в Зло. Если мы не проникнем в Зло, мы не добры. Какую из этих этически безальтернативных альтернатив мы должны выбрать?

Да, я критикую диссидентство. Оно всегда казалось мне слишком советским. Я не усматриваю принципиальной разницы между Сталиным, уничтожавшим своих чиновников, и борцами против советской власти, опиравшимися на Сталинскую Конституцию. Русское диссидентство для меня — продолжение тоталитарной саморазрушительности. Андропов мог легко вербовать своих сотрудников из своих мнимых

противников. Он был талантливым человеком, который понял смысл выходов к памятнику Маяковского как не противоречащий смыслу власти. Среди диссидентов были выдающиеся люди. Некоторых из них я высоко ценил и ценю: Сережу Маслова, погибшего при невыясненных обстоятельствах, Раису Орлову и Льва Копелева, Рафика Папаяна и Гарика Суперфина. У идейных движений есть отмеренный им историей срок. Они принадлежат своему времени. Это не всегда можно сказать о людях, которые в них участвуют, которые подчас бывают значительнее, чем отстаиваемые ими доктрины.

Стиляга-фарцовщик противостоял госфункционерам «эпохи Москвошвея» с большей непримиримостью, чем диссидент. В какой разговор мог представитель государства вступить с человеком, чью голову увенчивал заботливо взбитый кок и чьи ноги были обуты в ботинки на толстой подошве? Эти два лица исключали друг друга телесно, и их контакт завершался тем, что первое из них отстригало второму чуб. Диссидентство же было диалогом с властью, в чем таилась для него значительная опасность. Оно не было радикальным протестом против господствующих мнений, потеряв на историческом пути тот опыт радикального мышления, который ярко отличал лучших из поколения тридцатых годов. Диалог далеко не всегда добродетелен. Люди, стремящиеся к бескомпромиссности в идейных построениях, не имеют права на хабермасовский «консенсус», на уступки, которые требует от них докса. Нередко бывало, что диссидент превращался из сомнительного тактика в существо, которому ничего более не оставалось, как защищать свое тело от покушений на него со стороны властей предрежущих. Тогда он переставал, хотя бы временно, мечтать об издании в СССР газеты с брачными объявлениями, о допущении частного капитала в сферу обслуживания или о конвергенции двух сверхдержав и делался воистину радикально конфронтующим с устраивающим охоту за ним миром. Перед такими диссидентами — снимаю шляпу.

### КАК МЕНЯ В АГЕНТЫ БРАЛИ

*(Литературная газета, 22. VII. 1998, № 30, 5)*

Звоню по указанному в объявлении телефону [...] Войсковая часть [...] оказалась довольно внушительным серым зданием на Дзержинской [...] На фасаде дома — ни вывески, ни номера, ни вообще каких-либо данных [...]

«Значит так. Наша организация называется «Центр правительственной связи при президенте РФ». Задача — сбор, системати-

зация и анализ информации для...» — далее следует многозначительный жест рукой наверх [...]

Что же это за группа такая по сбору, систематизации и анализу информации? И почему в ее задачи входит работа с прессой? Нужно быть ну очень уж наивным человеком, чтобы поверить, что структурное подразделение из нескольких квалифицированных специалистов-аналитиков создано исключительно для того, чтобы отслеживать информацию в местной прессе. Для этого не нужно создавать спецорганизацию — «Союзпечать» за достаточно умеренную плату подберет вам публикации на любую интересующую вас тему [...]

В «Земском обозрении», корреспондентом которого я в то время работал, эта статья, уже будучи сверстанной, была снята с полосы, а файл уничтожен [...]

Я попытался опубликовать этот материал в других местных изданиях [далее идет рассказ о том, как из этого ничего не вышло. — И. С.] [...]

Спустя некоторое время [...] меня ограбили — двое молодых людей, нанеся мне несколько ударов, вырвали сумку с документами и убежали. Когда вопреки героическим усилиям сотрудников милиции мне удалось найти [...] грабителей, в сумке оказалось все на месте, кроме журналистской картотеки — она бесследно исчезла. Совпадение? Может быть.

\* \* \*

Последняя цитата — из одного малоизвестного диалога Платона, который был составлен им вскоре после «Политейи» и называется «Сикофант»:

Сократ: Как мы определим доносчиков?

Глаукон: Как мерзейших среди людей.

Сократ: Не торопись, Глаукон, осуждать то, на что ты направляешь свой ум. Знание обязано быть беспристрастным.

Глаукон: Не могу не согласиться с тобой, Сократ. Оценивая, мы уподобляемся рыночным торговцам. Но ведь мы с тобой ничего не продаем и ничего не покупаем. Мы обмениваемся мыслями.

Сократ: Прекрасно сказано, Глаукон. Когда мысль делается товаром, она перестает быть собой, она становится вещью.

Глаукон: Мы отвлеклись от темы нашей беседы.

Сократ: Вернемся к доносчикам. Разве они не стремятся к истине так же, как и мы, философы?

Глаукон: Клянусь Зевсом, ты прав, Сократ! Но не значит ли то, что ты сказал, что и философы достойны презрения?

Сократ: Ах, нет, Глаукон. Ты понял меня превратно. Ты опять оцениваешь явления, а не стремишься к постижению

их сущностей. Доносчик лишь подобен философу. Один хочет знать, что есть преходящее, а другой открывает вечное.

Глаукон: Как ты мудр, Сократ! Вот о чем я хочу спросить тебя теперь: постигающие преходящее не приподнимают ли завесу над вечным?

Сократ: Пусть так, Глаукон. Но когда мы, философы, проникаем в вечное, мы желаем блага для всех, чья жизнь слишком коротка, чтобы быть благом. Желает ли дать благо людям доносчик?

Глаукон: Клянусь Зевсом, доносчик не думает о нашем благе. Вот в чем, впрочем, загвоздка. Если мы выяснили, что есть вечное, то не отняли ли мы тем самым право у других интересоваться им? Пусть мы обрели всегдашнюю истину, не сделали ли мы таким образом мысль прочих людей ограниченной нашей? Не обокрали ли мы их, отказавшись сами торговать на рынке? Доносчик похищает сведения. Чем заняты мы, Сократ?

Сократ: Ты кислбздей, Глаукон! Ты зеленая дресня с плесенью! С твоей жопой сидеть бы тебе в навозном болоте! Я не исключаю даже того, что ты тайный бабник. О, жидкостульный, ты не был достоин моей беседы с тобой.

*Мюнхен  
1997, 1999*

## 5. СМЕРТЬ СИМУЛЯКРА

Никита был ученым и шарлатаном. Как ученый он занимался физикой атмосферы. Как обманщик он изобретал средства по улучшению погоды. Первобытная вера в то, что такие средства действительно существуют, не была свойственна Никите. Возможно, из него получился бы пристойный исследователь-среднячок, если бы он относился к науке так же, как архаичный человек — к магии. Но именно во всемогущей науке и сомневался Никита. Он наслаждался тем, что мог дурачить тех, кто принимал ее всерьез. Идея кандидатской диссертации, состряпанной Никитой, заключалась в том, чтобы открыть солнцу всегдашний доступ к земле с помощью рассеивания над облаками стирального порошка. То обстоятельство, что ученый совет, на заседании которого должна была произойти защита этого труда, состоял вовсе не из прачек, нисколько не смущало Никиту. Утвердиться в роли кандидата физматнаук ему удалось, впрочем, только со второго раза. Я присутствовал при первой его попытке втереть очки коллегам. Деликатно сослался на некоторые процедурные невязки, они отодвинули защиту на более поздний срок. За эту волюнку их горячо критиковал призванный на заседание полковник авиации. Вряд ли он был последователем Чаянова, предсказывавшего в своей утопии, что в будущей войне победит та сторона, которая сумеет использовать погоду как оружие. Приходится предположить, что вояка по достоинству оценил стратегические дарования молодого метеоролога, стремившегося взять верх над противником путем обманного маневра. Мало того, что Никита мистифицировал свой цех, он еще и глумился над ним. Заодно, правда, и над собственным дерзанием. В список научной литературы, приложенный к диссертации, были введены имена двух английских физиков: Spaniel N. и Voxer Z. Спаниель был собакой диссертанта. Выданный за авторитетного иностранного специалиста по атмосферическим явлениям Боксер, вернее, боксер, был тоже псом, добрым приятелем Никитино спаниеля по совместным прогулкам. Диссертация восходила к переписке собак из «Записок сумасшедшего» и далее — к Гофману и Сервантесу. Художественное слово

Никита уважал куда больше, чем точное знание. Были ли и члены ученого совета заражены литературностью? Если нет, то трудно объяснить, что побудило их в конце концов наступить Никитиным домоганиям.

Впоследствии Никита защитил и докторскую. Наш общий товарищ, писавший отзыв об этой работе, резюмировал в разговоре со мной свое мнение о ней тем словом, каковое я, вполне понимая, что подделка должна вызывать у честного ученого омерзение, считаю неуместным. Симулякр — не говно. Симулируя научную деятельность, Никита, насколько я способен разобраться в нем, рассматривал себя как воплощение наказания, ниспосланного на мир, который легкомысленно уравнил понятия творчества и истины. Обычно не замечают, как сильно вложенная в симулякр революционно-бесчеловечная гневная энергия. Как она воинственна. То ли вечером, сразу после решения ученого совета отложить дискуссию о чудотворных качествах стирального порошка, то ли немного позднее мы с Никитой пьянствовали у меня дома. Посреди застолья Никита, ни слова не говоря, схватил лежавший на кухне топор и отправился с ним на улицу. Я напрасно ждал возвращения приятеля. Через несколько дней он заявил мне, явным образом повторяя показания, запротоколированные в отделении милиции: «Убивать никого не хотел. Я только забор снес».

Философию науки издавна тревожили симулякры. Френсис Бэкон предупреждал испытателей природы об опасности ложных умозаключений, которые они могут предпринять, если приступают к познанию с предвзятыми мнениями, названными в «Новом Органоне» «идолами». Декарт обсуждал возможность такого мира, который создан демоном, забавляющимся тем, что ввергает наблюдателя в заблуждение. Чтобы приблизить научную рациональность к реальности, Бергсон предлагал обогатить ее интуицией. Наука открывает иное в данном нам. Ее иное не абсолютно в отличие от предмета веры или философских рассуждений. Оно поэтому легко может обернуться псевдоиным, стать миражом подлинно иного. Что и доказывал Никита своей кандидатской. Она была бичеванием науки как институции. Но она была и свидетельством того, что сам Никита не способен сотворить ничего, кроме симулякров. Бунтуя против безосновательно заносчивого сциентизма, Никита восставал и против себя самого. Ему всегда хотелось покинуть себя — и поэтому он так легко впадал в яростный экстаз, в агрессивное самозабвение. Вразрез с милиционерами, отпустившими Никиту на свободу, я не исключаю того, что, взявшись за топор, он собрался располовинить череп первому встречному, а вовсе не разрушить забор.

Никита посвятил себя стиральному порошку примерно тогда же, когда Файерабенд сказал о соперничающих между собой научных методах, почти цитируя Ивана Карамазова: «Anything goes». Пресловутая формула была крайне двусмысленной. Она и развязывала научную фантазию, и компрометировала ее тем, что не позволяла более судить об истинности/фальши ее проявлений. Никита родился вовремя. Как личность он не выпадал из идейного контекста, который складывался — особенно на Западе — в годы его бесшабашной молодости. Симулякр был ключевым словом французского постмодернизма. Делез видел в симулякре, определенном им как нечто, не допускающее различения копии и оригинала, суть творческого воображения. Бодрийяр окрестил современность, для которой, по его мнению, цифровой порядок кодирования информации в электронных системах важнее, чем порядок вещей, эпохой симулякров. Странно, ни Делез, ни Бодрийяр не задумались над тем, что симулякром может быть не только продукт человеческой деятельности, но и тот, кто ее осуществляет. Таким человеком был Никита. Симулякр во плоти легко спутать с самозванцем-антихристом. Но родство того и другого не стоит преувеличивать. Самозванец присваивает себе чужую идентичность. Никита никогда не стремился захватить не свое место. Его шарлатанство и расшатывало устои науки, которую оно имитировало, и являло собой насмешливое самоотрицание. Если он и был где-то, то не в себе. Определение Делеза нужно довести до логического предела: там, где нет границы между копией и оригиналом, в конечном итоге не остается ни копии, ни оригинала. Симулякры не жизнеспособны. Замки не висят долго в воздухе.

Общество держится на взаимоподражании его членов. Они солидарны в том, что цензурят друг друга. У социального человека всегда есть образец, которому он следует, который экономит его духовные силы. Из этой ролевой экономики вырастает любая иная, в том числе и хозяйственно-рыночная. Социальному лицедейству как целому требуются пра-образцы, которые оно находит в фигурах демиурга, культурных героев, законодателей, патриархов. Тот, кто укоренен в обществе, делигирует, как выразился бы Бурдьё, свою созидательность, хотя бы отчасти передоверяет ее Другому, объективирует ее и в результате полагает ее не подлежащей сомнению. Чем больше экономии, тем больше, стало быть, истины. Творчество — круговая порука. Иначе говоря, оно неизбежно интертекстуально.

Живой симулякр, так или иначе разрушающий самое имитацию, переворачивает все социальное жизнеустройство.

Он — конкурент социума. Любой человек мог стать для Никиты врагом. Даже при мирных походах вместе с Никитой за бутылкой вина в лавку меня не покидало беспокойство за него. Что именно взорвет его, было непредсказуемо. Гумилевская идея «пассионарных толчков» разделялась Никитой не только потому, что у Льва Николаевича был роман с его матерью. Не стану повествовать в подробностях о Никитиных буйствах. О том, как он сломал первой жене руку о батарею парового отопления. О том, как мы жестоко подрались, по Никитиному почину. Или о том, как он страшным голосом орал в сочинском кабаке на метрдотельшу, отказавшуюся впустить нашу полуобнаженную компанию в зал: «Чтоб ты сдохла от цирроза печени!» Делез связал проблему симулякра воедино с «дурной бесконечностью» Гегеля и с «вечным возвращением» Ницше. Бодрийяр утверждал, что срастание подражания с подражаемым кладет конец революциям, смысл которых состоит, якобы, в том, чтобы быть безукоризненно оригинальными. Когда я вспоминаю о Никите, мне закладывает уши от его крика в чопорном сочинском ресторане. Умозрительные построения французских философов противоречат моему опыту общения с человеком, который был симулякром, т.е. угрозой для всякого, стремящегося себя воспроизвести, порядка, кипящим хаосом, что твоя революция. Симулякр — обрыв в гомологической цепи, в которой каждое последующее звено заимствует какой-либо признак у предыдущего. Гневными античностью изображала богов. Никита обладал их атрибутом без их omnipотенции. Он успокаивался только наедине с природой, которую любил в ее некультивированном состоянии. Дружил с лесниками. На естественную среду агрессивность Никиты не распространялась. Однажды ему выпал жребий рубить голову курице. Эта участь была не по Никите. Валера Попов предложил ему нырнуть вместе с курицей в озеро, на берегу которого мы расположились, и сидеть под водой пока она не захлебнется. Немного поколебавшись, Никита согласился с идеей, с полной серьезностью сказав, что в этом случае борьба человека и животного пойдет на равных. Когда Никита снова ступил на сушу, трепещущая курица, из которой летели радужные брызги, выглядела живее, чем он. Мы сидели вокруг пенька потерянные до тех пор, пока из соседней палатки не вылезла бывалая туристка-шестидесятиница. Не без презрения к нам она отняла у нас топор и проворно казнила птицу, уставшую от подводных орданий.

Розыгрышей и шутивого притворства Никита решительно не понимал и не терпел. Летом какого-то из 60-х годов я позвал друзей в квартиру моих родителей, перебрав-

шихся на дачу. Мой отец, инженер-телефонист, обслуживал правительственную связь, которая была тогда подведомственна КГБ. Наряд, который отца заставляли носить, время от времени менялся. Иногда им была форма армейских связистов с черными кантами. Иногда отцу приходилось по служебному предписанию облекаться в цивильное платье. В то лето, о котором рассказывается, околыш отцовкой фуражки был голубым. Первым в гости явился Бродский, выпил рюмку водки, обнаружил на вешалке в прихожей мундир полковника КГБ и указанную фуражку, напялил их на себя и водворился за столом с грозным и веселым видом. Более счастливым и довольным собой, чем в тот момент, я будущего нобелевского лауреата не помню. Следующим пришел Никита, который с Бродским знаком не был. Он хмуро оглядел Бродского, от водки отказался и вызвал меня на кухню, где спросил с обычной своей яростью: «Кто этот кагэбешник?» «Никита, — сказал я, — да ведь это Бродский». «Мне по хую, — возразил Никита (по меньшей мере наполовину еврей), — жид твой следовательно или нет». Нашу беглую беседу Никита, который намаялся, будучи школьником последнего класса, как свидетель по политическому делу математика Пименова, завершил непреложным требованием: «Пусть валит отсюда!» Я тут же огласил ультиматум. Бродский спросил: «А можно взять с собой фуражку?» После того как недоразумение исчерпалось, Никита впал в молчаливость и просидел весь вечер, побито улыбаясь. Может показаться противоречием то, что Никита, с одной стороны, дразнил scientific community мистификациями, а с другой, — сам не умел распознать их. Но оно снимается, если постараться увидеть людской мир изнутри симулякра. С этой точки зрения, в перспективе подлинно неподлинного существа, каким был Никита, все неподлинно подлинны, все тождественны себе как маски, под которыми нет лиц. Сорвать с кого-то личину — значило для Никиты уничтожить ее обладателя. Тут не до смеха над дружескими инсценировками. Дружеского прозвища у Никиты не было.

Во второй раз Никита женился на Ирке. Она без устали хлопала ресницами, как бы пребывая в недоумении, за которым на самом деле пряталась безошибочная практическая сметка, и демонстрируя невинность, которой она была лишена по прихоти игривой природы от самого рождения. Ирка была государственницей-сталинисткой, что не мешало ей ловко проворачивать незаконные денежные махинации. Мы невзлюбили с ней друг друга менее всего из-за политических расхождений. Она держала Никиту взаперти — я манил его наружу. Ирка коллекционировала средневековую

китайскую бронзу и современную живопись, но заодно вкладывала капитал и во всякую всячину, которая того стоила. «Echt falsch» в ее собрании был только один предмет — Никита. Теперь он предпочитал проводить время дома, редко показывая на улице свое лицо — одно из самых красивых мужских лиц, которые я когда-либо встречал. Оно было бы вполне совершенным, не искажай его то и дело та бешеная гримаса, которой предназначалось сеять вокруг terror antiquus. Среди бронзы и ваз, пощаженных во время оргий, которые мы учиняли в отсутствие Ирки, Никита часами выуживал клещей из шерсти любимого пса, почитывал, покурил, ждал летнего отъезда на природу. У Ирки, озабоченной тем, как нарастить богатство, не было ничего общего с Никитой, опровергавшим собой истинность экономического поведения. Но Никита, конечно, отдавал себе отчет в том, сколько смертельного риска несет в себе его натура. Целью брака было спасение Никиты. Уверен, не будь Ирки, Никита умудрился бы не дотянуть до конца и без того короткого жизненного срока, который был ему отведен. Ирка, кулак кулаком, относилась к бесчеловечному Никите гораздо человечнее, чем аз грешный. Хотя она вроде бы и распоряжалась Никитой, как хотела, она в сущности исполняла его волю, его желание — быть.

\* \* \*

Кто был отец Никиты, мне неизвестно. Эта тема никогда не поднималась в наших разговорах. Есть что-то нечистоплотное в использовании психоаналитического языка при портретировании друзей. Если он к тому же примитивен, то приходится повиниться вдвойне. Но иного у меня нет в эту минуту в запасе. Никитина эдипальность не была конкретизирована, не сосредоточивалась на одной персоне. Она низвергалась на всю патриархальную организацию общества, которую Никите нечем было заменить.

Придаточное предложение Гегеля: «Es ist der Schmerz [...], dass Gott gestorben ist», которое Ницше сделал главным, толковалось множество раз наследниками обоих философов. Те подходы к смерти Бога, с которыми я знаком, как бы они ни отличались друг от друга, подчинены одной и той же мыслительной стратегии: Лакану, Хайдеггеру, Жирану и др. хотелось выяснить, что остается после этой кончины. На одном из своих семинаров Лакан заметил, что от Всевышнего избавляются, дабы воздвигнуть миф о преодолении кастрационного страха. Умерщвление Бога, по Хайдеггеру, — всегдашнее занятие европейского нигилизма, прокла-

дывавшего путь к тому, чтобы освободить философию от метафизичности и привести ее в соответствие с тем, что есть, — с бытием. Жиран спорит (1985) и с Лаканом, и с Хайдеггером. Для этого исследователя ритуального насилия гибель Бога — заклятие сакральной жертвы. Опустевшее место заступает совершивший насилие жрец, философ, Ницше. Если религия и расстраивается, то с тем, чтобы тут же быть восстановленной. Я не буду отклоняться от только что прослеженной традиции и продолжу ее варьирование. Там, где Бога больше нет, есть симулякр. Вспомним «Ессе homo» — текст, в котором угасающий Ницше боролся в роли этакого здоровяка с недужным декадансом. Симулякр самоначален, самочинен. Его генезис не в трансцендентном, а в его данности самому себе. Он самоподобен, как мандельбровы множества. Выросший без отца, Никита никому не навязывался в руководители. Он не был авторитарен. Этим свойством обладает тот, кто что-то заново начинает. Если вы не вступали в конфликт с отцом, вы никогда не станете основоположником.

Когда мать Никиты умерла в 1980 г. от инсульта, он причитал по ней каким-то ненатуральным бабьим басом. Естественным для Никиты был один-единственный аффект — тот, о котором я все время твержу. Горе по матери, которой Никита был чрезвычайно предан, он не знал, как выразить. Он метался по квартире, вслух корил себя за то, что не поспел к умирающей, он, как всегда, был неистов, но вдобавок к этому, рыдая сразу и мужским, и женским голосом, он оказывался, если так можно сказать, по ту сторону выхода из себя, за пафосом, не просто за границей своего тела, но как бы даже и в чужом теле. Никиту тоже постиг инсульт. Наверняка он был по наследству предрасположен к этой болезни. Но, сверх того, он торопил ее приход, ежевечерне выпивая по две бутылки вина, отчего растолстел, и нещадно смоля, как и его мать, «Беломор». Прежде Никита потреблял алкоголь лишь от случая к случаю. В глубине души он стремился сымитировать смерть матери. Как актер Никита мог разыграть только роль трупа. Никогда ничего толком не создавший, он болезненно ощущал за собой нехватку таланта. Превозмочь ее он был не в силах. Стихи, которые он внезапно принялся строчить, были никудышными, и он не переоценивал свои пробы пера. Он был привязан к Валере, наделенному счастливым умением забавляться повседневностью. Ирка постаралась увековечить их дружбу, ссужая деньгами Валеру, у которого таковые водились редко. Валерин дар восполнял Никите его недостачу. Творческим актом Никиты стало подражание матери — в

ее смерти, воспроизведение породившего его тела в качестве отсутствующего. После первого удара Никита никого более не желал видеть. В теории дегенерации, возникшей во второй половине прошлого столетия, светилась надежда на то, что жизнь длится и иссякнув. Это учение было оборотной стороной веры в посмертное воздаяние. Иная жизнь не существовала для Никиты ни там, ни здесь. Тот, кого хватил удар, погружается в себя — Никитиной стихией была экспрессия. Умом я дохожу до тех страданий полупарализованного, жаждущего умереть, страстно не согласного дегенерировать Никиты, которые он должен был испытывать после инсульта. Но вчувствоваться в эти мучения мне не дано. Как и никому. Разве что Ирка была на это способна.

Я сказал, что Никита подходил своему времени. Правда, оно не производилось им — он вписался в эпоху, выстраивавшую теории симулякров, как готовый симулякр. Но и не смотря на это, его жизнь не была составлена лишь из случайностей, не явилась чужой для него. Пусть ничего не давшая миру, она была связной, целеустремленной, в себе завершенной — прочитываемой, подчиненной Никитиному волеию. Биографиями — в небюрократическом значении этого слова — обладают люди, чье личностное содержание совпадает с содержанием того целого, имя которому современность.

\* \* \*

В заключение нужно рассказать, как погибла Ирка. Похоронив Никиту, она осталась совсем одна. Кому она открыла в тот день, когда ее убили, дверь, снабженную, как полагается, глазком, множеством запоров и обитую металлом? Кому удалось провести ее, хитрющую, осторожную? Как ее угораздило так непоправимо обмануться? Кто бы ни были эти люди, они были «echt falsch». В их обмане должна была присутствовать какая-то неподдельность, иначе Ирка непустила бы их к себе. Ее пытали, чтобы узнать, где она прячет валюту, и потом утопили в ванной. Ни один из предметов Иркиной коллекции похищен не был. Она перешла в собственность государства нетронугой. Художник Игорь Захаров-Росс сокрушался из-за того, что таким образом канула, невесть куда, одна из его лучших ранних работ, которую Ирка когда-то выцыганила у него, изголодавшегося, за кулек прогорклых пирожков. Вещь Игоря называлась «Колесо».

Мюнхен, 1997  
Тенерифа, 1999

## 6. УРНА ДЛЯ ТАБАЧНОГО ПЕПЛА

В 1958 г. зимой я учился на вечернем отделении ЛГУ. Я жил около Финляндского вокзала и после работы на заводе добирался из дома до университета на 47-м автобусе. Бродский жил в знаменитом доме Мурузи на Литейном, в котором до него обитали Мережковский и Зинаида Гиппиус. Мне с ним было по пути (много позднее выяснилось, что мне и со всеми поэтами из дома Мурузи было по пути — на Запад). Трудясь, как и я, днем, Бродский посещал вечерами семинар по истории КПСС, который был для меня обязателен, а для него, вольного слушателя, просто интересен — чем именно, мне было поначалу невдомек. С руководительницей семинара он не соглашался в данном Сталиным определении нации, все еще считавшемся непоколебленным. С изумлением я заметил, что доцентша не донесла на Бродского. Полемика с партийными догмами как раз перестала быть наказуемой. Бродский испытывал терпение дамы, которая могла бы несколькими годами раньше засадить его в лагерь. Другой причины для его приходов на этот семинар, не снабжавший нас никакими знаниями, я не вижу. Тогда же Бродский начал писать стихи.\*

Вечер поэзии в университете, на котором Яков Гордин читал свои стихи, собрал много слушателей и желающих выступить в прениях. Когда черед ораторов дошел до Бродского, он не смог сказать ничего. Пена кипела на его губах, с которых не срывалась речь. Студентка Академии художеств, которая намеревалась сохранить для истории то, что происходило на вечере, в растерянности отложила перо. Толь-

---

\* Яков Гордин поправил меня: он считает, что Иосиф принял за поэзию на год раньше. Но в воспоминаниях, которыми Бродский поделился с Соломоном Волковым, он приурочил старт своей поэтической карьеры к восемнадцатилетию, т. е. к 1958 г. В принципе я склонен больше доверять Якову, чем Иосифу и себе. Но пусть расхождение в датах останется неразрешенным. Во всяком случае именно в восемнадцать лет Иосиф отважился на обнародование своего творчества — он принес свои стихи поэту-маринисту Илье Авраменко, который остался ими крайне недоволен.

ко теперь мне ясно, что непередаваемое косноязычие Бродского и было тем, о чем он хотел оповестить нас. Он показал нам, спорящим о стихах, что наша речь со всеми неизбежными в ней общими местами, без которых она не была бы средством коммуникации, разрушаема полностью, превращаема в пену. То, чего не сказал Бродский, было деструкцией того, о чем болтали мы. Противоположностью наших суждений о поэзии явилась для Бродского совершенная афазия. Позднее она преобразовалась в гиперфазию — в виртуозное владение таким поэтическим словом, которое сообщает нечто в той мере, в какой оно *поработает* читателя, запутывая его в лабиринте придаточных предложений, не даруя ему передышки на границе строф, синтаксически продолжающихся в следующих, не отпуская его на волю из все длящихся и длящихся, почти нескончаемых лирических текстов, столь характерных для Бродского.

Однажды зимой 1958 г. мы возвращались с Бродским после вечерних занятий по домам, лежавшим на одной и той же городской оси, вися на подножке 47-го. Когда автобус вырулил на мост через Неву, Бродский прокричал мне: «Я решил не принимать». Грамматический объект назван не был. Но намек на фразу Маяковского, заявившего, что для него, как и для прочих московских футуристов, не стоял вопрос о том, принимать или нет большевистскую революцию, было не трудно расшифровать. Мне не удается восстановить, что именно я подумал в ту минуту о сказанном Бродским, скорее всего, я боялся упасть с подножки переполненного пассажирами автобуса и вряд ли мог хорошо соображать, но я знаю, что моя память не удержала бы до сих пор сообщенное мне, если бы оно не обладало для меня сразу же особой весомостью.

Затем последовал самаркандский эпизод. Вместе с двумя сообщниками, один из которых был когда-то летчиком, Бродский попробовал украсть самолет из аэропорта вблизи Самарканда, чтобы улететь за границу. Похищение сорвалось. Один из заговорщиков оказался полной противоположностью преподавательницы по истории КПСС. По возвращении Бродского из Средней Азии в родной город его продержали три дня в камере предварительного заключения. Этой мерой устрашения дело на время ограничилось.\*

---

\* В разговорах с Соломоном Волковым Иосиф излагает этот сюжет так, что следует думать, что идея кражи самолета пришла ему в голову совсем случайно, когда он очутился в Ташкенте. Я помню, как мы прощались, когда он улетал туда. Иосиф был сосредоточен и печален. Впечатление было такое, что он прощался в тот раз навсегда.

Летом 1992 г. Бродский выступал в Мюнхене. Вслед за физиком Вайзекером и девяностолетним специалистом по тому, что противоречит всякой физике, по гностицизму, Йонасом ему надлежало подбивать итоги нашего столетия. Вместо того, чтобы держать речь, он начал читать большой немецкой аудитории, собравшейся в Принц-Регентен-Театре русские стихи. Три девушки в недоумении покинули зал, вызвав у меня по контрасту и вместе с тем странному сходству образ той, которая стенографировала поэтов когда-то давным-давно в Ленинграде. Я пришел к Бродскому, которого не видел двадцать лет, в артистическую уборную, он не узнал меня и, когда я назвался, всунул свою вечную сигарету другим концом в рот, зажег ее с мундштука и, будучи отчаянным курильщиком не меньше, чем великим поэтом, постарался, несмотря на непреодолимые трудности, как следует раскурить ее. Когда мы выкатились на ступеньки театра, к Бродскому подскочил худой и невысокий человек в черной кожаной куртке. «Знаешь, кто это был?» — спросил меня Бродский после того, как его разговор с требовательным собеседником, призывавшим его к написанию некоей статьи для некоей эмигрантской русской газеты, иссяк. К моему «нет» прибавилось: «Он меня заложил». И на мой вопрос о том, что стучац делает в Мюнхене, был дан очень равнодушный ответ: «Ночует в какой-то церкви».\*

Образ невинного стихотворца, которого не терпел Левиафан, в приложении к Бродскому мифичен. Стороны вели борьбу друг с другом — не на равных, разумеется, но и не так, чтобы мы имели право видеть зачинщицу распри в той, что была (тогда) сильнее.

Понять феномен Бродского без попытки разобраться в том, что есть преступление, нельзя. Среда молодых интеллектуалов, в которой вращался Бродский, менее всего была правопослушной. Будущий профессор физики промышлял спекуляцией, строго каравшейся по закону. Прозаик с будущим мировым именем не щадил, как и многие другие из нас, своих кулаков. Будущий высококлассный деятель театра шутки ради угнал рейсовый автобус из аэропорта вместе с пассажирами. Список сходных примеров мог бы стать таким же долгим, как стихи Бродского. О своих художествах я, злоупотребляя властью автора над текстом, умолчу. В свою очередь, те, кто нарушал закон не дилетантски, а с профессионализмом, бывало, любили литературу и даже ба-

---

\* За что купил сказанное мне, за то и продаю. Пусть архивисты выясняют, был ли прав Иосиф в своем обвинении.

ловались стихами. С одним из них были близко знакомы и Бродский, и я. Его специальностью было насильственное изъятие товаров у излишне доверчивых контрабандистов. В среде, о которой идет речь, далеко не все было дозволено. Разрешена была криминальность на основе *соревновательности* — с государственной торговлей, которая оставляла желать лишь лучшего, друг с другом в кулачной битве или в выкидывании безумных шуток, с преступниками же и т. п. Вне всякой конкуренции стоявший до того государственный террор сменился то большей, то меньшей уголовщиной снизу, развязавшей конкуренцию. *Qu'est-ce que la concitence? C'est la vol.*

Бродский стал великим поэтом, когда не удался угон самолета. Куда ведет всякое преступление? Через рубеж закона, в чужую страну, за границу — и еще дальше, туда, где нет наших тел. Афинский суд пенял Сократу за то, что тот испытывал чрезмерный познавательный интерес к подземному миру, — винил его за эмиграцию из здешней реальности. Собравшись похитить самолет, Бродский мыслил преступление как метафизик прежде всего. Оно превосходило нашу повседневную мелкотравчатую криминальность (хотя, возможно, и питалось ею) не потому только, что измена социалистической Отчизне была в глазах властей куда более тяжким грехом, чем все наши вместе взятые противоправные действия, но потому, по преимуществу, что оно выявляло квинтэссенцию преступления. Какие бы внешние причины ни помешали Бродскому осуществить задуманное им, здесь присутствовала также внутренняя закономерность, состоявшая в том, что у *чистого* преступления, совершаемого метафизиком, не бывает формы. За исключением столь же чистой, как самое сущность, как ноумен, — художественной.

Творчество Бродского преступно, хотя оно вовсе не легитимирует презрение к законам, как это было свойственно демонической поэзии Зла прошлого и начала нынешнего столетий. Бродский видит все, что угодно, из-за границы всего, из того вакуума, в котором оказываются, когда преступная эмиграция достигает полноты, «из ниоткуда», из «пустыни», где пришлось остановиться, из «бесцветной ледяной глади» («Осенний крик ястреба»), из пространства, откуда «нет возврата». Если на Васильевский остров, в покинутый предел, и возвращаются, то для того, чтобы умереть. Если из камеры для пожизненно заключенных убегают, то с тем, чтобы добровольно поселиться в ней снова («Мрамор»). Бродский изгнал сам себя в пустую потусторонность. *Метафизическое* преступление отрывает от «этого» мира в его целом и, будучи *лишь* уходом из него, не позволяет сказать ничего

определенного об инобытии. Бродский любил Баратынского, наказанного за юношескую кражу: «Я из племени духов, Но не житель Эмпирея...» Одно время он, кажется, был религиозным. Пока не приблизился срок отправки в Америку.

Существует мнение о том, что Бродский был последним гениальным поэтом нашего века, человеком, рискнувшим захватить позицию, на которую мало кто в постмодернистскую эпоху покушался. Оно меня подкупает. Но неотвеченным при этом остается вопрос о том, что такое место гения в постмодернизме с присущими таковому: отрицанием субъектности и оригинальности, культом малых групп и плюрализма, писанием нового апокалипсиса, катастрофически завершающего самое апокалиптичность (без которой гений обойтись не может), заявлением о конце «большого нарратива» и т. п. Последним убежищем гения в постмодернизме оказалась преступность. В условиях, в которых истина релятивизована, роздана каждому на самоусмотрение, экспроприрована у авторитетов, лишена апокалиптической непререкаемости, гениальным остается тот, кто не со всеми вместе совершает преступление против всегда желавшей быть единой и неделимой истины, но видит истину в самом преступлении.

В том незначительном, полукомнатном, воспетом с ненужной для предмета силой пространстве, где Бродский ютился рядом с родителями, все было усыпано пеплом от сигарет. Пепел лежал горками. Бродский почти не пользовался пепельницей. Время от времени он стряхивал пепел, не глядя куда, через плечо.

Курение не сводится лишь к потреблению никотина. Не менее существенно при курении, ставшем в последние годы модной темой в философии Деррида и в кинофильмах Остера, — *зримое* нами превращение телесности в дыхание-дух. Табачный дым, постепенно растворяющийся псевдософийным облачком над нашими головами, которое окружает их почти нимбом, позволяет наблюдать то, что мы в принципе не должны были бы видеть, — продолжение нашего биофизического существования в идеальном, в небесном, наш уход в высь. Курение подтверждает наличие Логоса тем способом, который называется *argumentum a contrario*: если Плоть может у себя на глазах развоплотиться, то и Слово может стать Плотью. Голубая струйка, которую мы выдыхаем, — другое речевой артикуляции, обращенное не к людям, родственное пене на губах девятнадцатилетнего Бродского. Курение не пустое разбазаривание субстанции (табака), но ее левитация — ее парение, опосредованное субъектом. Государственная охота на курильщиков продлевает жизнь граждан, но лишает их наслаждения познакомиться с бес-

смертием здесь и сейчас. Курение отныне криминализовано. Что, быть может, не столь уж несправедливо — и не только из-за того, что приверженцы табака вредят здоровью тех, кто их окружает. В курении, действительно, есть нечто от преступления: и то, и другое — бегство за рубеж. Загоняя курильщиков в резервации, напоминая индейские, их наказывают самым что ни на есть традиционным способом — ограничивают свободу их перемещения.

И теперь о пепле. Материя, преодолевшая тяготение, улетучивается не полностью. Табачный пепел отличается от иных производственных отходов тем, что он одновременно и ненужный остаток производства, и главный его — после того, как дым, подобно следу от самолета, рассеется, — продукт. Когда мы выкидываем пепел из дома, несправедливо смешивая его с прочим мусором, мы лишь отказываемся признать себе в том, что мы способны создавать и подобного рода продукты. К их числу принадлежит еще один — труп на месте убийства. И в этом случае теряется разница между тем, что производится, и тем, что уходит в отбросы. Пепел — решающая улика, свидетельствующая об аналогии между курением и преступлением. Самозабвенно предаются курению изображаемые в литературе и в кино детективы и гангстеры, — прочитал я в одной статье об истории сигарет. Бродский с его нежеланием прятать бранные останки табака был курильщиком в высшей степени сознательным.

*Мюнхен  
1996*

### **III. ДВА ДИАЛОГА**

# 1. ДИАЛОГ В ПИСЬМАХ. (С БОРИСОМ ГРОЙСОМ). ДАТЬ СЕБЕ ТРУД

9.1.96

Мюнхен

Дорогой Боря,  
вчера в Мюнхене читал доклад в университете Славой Жижек. Я собрался послушать знаменитость. Но в течение всего вчерашнего дня я работал, дописывая книжку о таинственном, выпил изрядно красного вина, надеясь достичь мистического экстаза, соответствующего моему предмету, и к вечеру, когда должен был состояться доклад, так назюжикался, что счел за лучшее не показываться на публику. Но, может быть, я не услышал Жижека не потому, что выпил лишку. Я всегда предпочитал чтение книги лицезрению ее автора. Еще-присутствию мыслителя не хватает абсолютности. Кто его знает, куда он разовьется?! А когда он за кафедрой, на сцене, то он особенно жив и уже поэтому — переменчив. Мне кажется, что текст пишется не для того, чтобы преодолеть смерть, но, напротив, для того, чтобы создать ее, дополнить ею наше еще-присутствие. Ведь текст есть то, что *завершено*. Банальность, рассчитанность на всех и каждого телевидения как раз и состоит в том, что оно подменяет текст лицом. Банально представление о человеке без текста. Банальна бестекстовость. Симпатичная харя, которая глядит на нас с экрана телевизора, хочет сообщить нам, что не стоит стараться, писать, думать, что создатель текста и покупатель в магазине — одно и то же, что тела достаточно для того, чтобы явление истины состоялось. Когда как. Телевидение низводит нас до животности. Оно — новый руссоизм. Это советский букварь, процитировавший в первых же своих строках («Мы не рабы. Рабы не мы») трактат о социальном договоре. Оно находит общее, универсальное по эту сторону биологичности и физичности. В этом плане телевидение успокаивает (мы говорили о чем-то подобном вчетвером, вместе с Наташей и Ильей Кабаковым, когда катались на лыжах в Австрии) — но кого? Того, кто не может думать до конца мысли. Текст, напротив, беспо-

коит. Он тревожит нас тем, что в нем мы достигаем нашего предела, за которым уже более ничего нет, кроме веры. Смотреть на философа (Жижека) не философично. Мы в силах помыслить все, но можем созерцать лишь выбранный нами кусок всего. Живой автор разочаровывает по той причине, что он — лишь биосинекдоха творимого им.

После того, как я не увидел Жижека, я прочитал его новую книгу «Гегель вместе с Лаканом». Его «Гримасы реального» в свое время привели меня в восторг. Его последняя работа меня разочаровала. Если ты ее еще не читал, то я тотчас настучу на нее (в добросовестно составленном доносе больше правды, чем в научной статье). Рената Лахман сказала мне: «Жижек? Но он рабски следует Лакану». Конечно, она права. Вопрос в том, почему нынешний властитель дум хочет подчинения. Соглашаясь с Ренатой, я понимаю и замысел Жижека. Он состоял в том, чтобы с помощью авторитета (Лакана) опровергнуть неавторитарную мысль шестидесятых годов, уничтожить Деррида. Главная идея этой книги — в том, что субъект, от которого отказались Фуко и иные ранние постмодернисты, есть. Но он есть для Жижека только как себя оскопляющее существо. Поэтому Гегель вчитывается Жижеком в Лакана: ведь именно у Гегеля, как мы прекрасно знаем, позаимствовал Лакан представление о том, что «я» в своем желании стремится угадать желание Другого, т.е. не обладает собственным желанием, что и означает: быть кастрированным. В общем я хочу сказать следующее: чтобы кастрировать Деррида, Жижек кастрирует субъекта и — тем самым — самого себя. Жижек, хотел он того или нет, обнаружил определенную философскую линию кастрированного мышления, тянущуюся от Гегеля к Лакану (я думаю, что последний тайно отождествлял себя с женщиной). Ах, если бы Жижек этим и удовлетворился! Но он не ограничил себя деконструктивной работой с чужими текстами. Он — в глубочайшей наивности — принял их за *правду*. И проиграл, желая найти позицию, иную, чем та, которую занял Деррида.

Я бы не стал писать тебе о «Гегеле вместе с Лаканом», если бы эта работа не задевала и тебя, и меня. С ее логикой легко расправиться. Аргументы Жижека не слишком сильны. Он рассуждает, в частности, о том, что субъект тоталитарных режимов жертвует собой в пользу фрейдовского «Сверх-Я». И безжалостно эксплуатирует этот пример, чтобы сообщить нам, что *всякий* субъект теряет фаллос. Ну, это как у кого. Мне мой хуй, если не считать пары случаев полного опьянения, пока не отказывал, став моим антитоталитарным местом не-нехватки. Впрочем, лучше не пользо-

ваться наглым *argumentum ad personam*. Можно возразить Жижеку солиднее. Как он будет интерпретировать всепобеждающего субъекта восемнадцатого века? У аргументации, обращающейся к истории в ее (истории) синекдохах, нет веса. С помощью исторического прецедента мы обосновываем все, что нам угодно, за исключением одного: мы не знаем, где мы сами находимся в истории. Или мы взываем к истории в ее целом, и тогда понимаем также нашу историчность, или мы выхватываем из истории то, что нам подходит, отказываясь понимать себя как преходящее. «Символический порядок», о котором много думал сюрреалист Лакан, берет и у Жижека верх над субъектом. Субъект терпит поражение в мире им творимых знаков, в процессе самозамещения, — так вроде бы нужно читать «Гегеля вместе с Лаканом». Семиотика шестидесятых сменилась критикой знака. Мне нет дела до семиотики и ее опровержения. Меня волнует псевдофилософичность книги Жижека. Если мы жаждем постичь «реальное» — то, что остается за вычтанием «символического», и в этом заключено намерение Жижека, нам не нужно издавать книги, умножающие «символический порядок». Пусть Жижек выступал бы по телевидению, я с этим еще мог бы согласиться, но он пишет — и сам себя компрометирует. Жижек — талантливый человек, но плохой философ, потому что он не задал себе вопроса о том, почему он, ища «реальное», находит «символическое»: свой текст, свою книгу.

Что касается нас, Боря, то я, право, не знаю, как мы можем отделаться от постмодернистской идеологии шестидесятых. Прости мне, ради Бога, мелодраматический тон. За ним — действительная растерянность человека, который потерял основание для думания. Этим основанием всегда была вера в субъекта; сомневающегося в себе и за счет этого обретающего истину, подчиненного нравственному императиву, тождественного даже объекту, становящегося по ходу прогресса сверхчеловеком, способного завершить историю в сизигии, пребывающего уже в будущем и т. д. Постмодернизм живет уже больше тридцати лет, и одного этого, чрезмерной жизни постмодернизма, хватает, чтобы начать думать по-новому. «Гегель вместе с Лаканом», какая бы это ни была дурная философия, поставил проблему, которая мучает меня. Жижек только делает вид, что он оторвался от Деррида, набивая себе покупную цену (критиковать ранние шестидесятые нынче модно). Давай рассудим по сути дела: чем кастрированный субъект Жижека отличается от подавляемого властью дискурса не-субъекта, которого изобразил нам Фуко? Ничем. Не все ли равно, объявим ли мы субъ-

екта несуществующим в тексте, который неизвестно кто пишет, или в процессе авторефлексии, которая создает, по Жижеку, тот, не поддающийся осознанию, остаток, что делает из субъекта объект-«а»? Тех же щей, да пожижек влей.

Жижек блестяще разбирает кинофильмы. Эти разбор — его сильная сторона. Но кинофильм, с моей точки зрения, — это единственный дискурс, в котором философия, предмет зависти всех других дискурсов, не может выразить себя. Кинофильм почти патологически антифилософичен. Он не должен служить примером в философской книге. Братья Люмьер и все их последователи кастрировали ни много, ни мало — мир, вырезав из него потустороннее (что и есть кастрирование в его высшем проявлении). «Политый поливальщик» был, конечно, неслучайно началом киноискусства — фильмом о самооскоплении, о шанге (читай по Фрейдю: фаллосе), опасном для того, кто заставляет его (шланг-фаллосе) работать. Важнейшее в философии — ее полнота, она есть высказывание и о том, и об этом, *double bind* без шизофренического шуба. Живопись в движении, каковой является кинофильм, никогда не переходит к подлинно Другому, т. е. к невидимому. Другое для кинофильма заключается в отсутствии данного, в кастрировании субъекта. Именно движение картины делает ее слишком здешней. Движение — в его *свободе* — происходит только по эту сторону видимого. Эта динамика не нарушает той границы, из-за которой *нет возврата*. Все кинематографические кадэвры, терминаторы и пр., начавшие вторую жизнь, на самом деле *не умирали* по-настоящему. Бергсон критиковал кинематограф как философ. Делез теоретизировал о нем — как постмодернист, преисполненный сомнениями в силе и адекватности философских суждений.

Если наступление постистории было объявлено, то как после этого мы вернемся в скромное место исторического человека? С чем мы боремся? С идеей Деррида, согласно которому идея уже потому заслуживает деконструкции, что она не есть бытие? Разве с этим можно бороться? Неужели наше предназначение в этом мире в том, чтобы опровергать правду? У меня есть претензии и к Деррида. Очень значительные. Но он, в отличие от Жижека, — человек, сумевший думать до конца. Я не хочу быть еще одним Жижеком, попусту расходуящим умственную энергию, чтобы посредством одного авторитета побить другой. Но на что ее тратить, если она одолевает меня?

Твой Игорь

\* \* \*

[Февраль 1996  
Кёльн]

Дорогой Игорь,

ты, конечно, прав: Жижек не очень чтобы уж особенно блестящий автор, хотя местами и весьма остроумен. С другой стороны, я бы не сказал, что он слабый философ. Жижек, на мой взгляд, вообще не философ, а теолог. Подсознание, Желание, Тело, Реальное и т. д. — это просто модные в наши времена имена Бога. Поэтому дискурс, желающий истолковать эти имена, есть теологический, а не философский дискурс: ведь речь в нем идет о вещах, по определению скрытых от нашего сознания. Теологический дискурс всегда склонен к ортодоксии: Жижек утверждает, что не говорит ничего другого, нежели говорил Лакан, а Лакан утверждал, что не говорит ничего другого, нежели говорил Фрейд, а Фрейд утверждал, что не говорит ничего другого, нежели говорит Подсознание. Един Бог — а все остальные суть только пророки Его.

Ничего плохого в этом, конечно, нет. Теологический дискурс также имеет право на продолжение, как и любой другой. Единственное, что меня при этом несколько раздражает: в наше время постфрейдистская теология понимает себя преимущественно как дискурс о способах организации досуга, отдыха, свободного времени. Все только и рассуждают о желании, наслаждении, экстазе, празднике, карнавале и тотальной симуляции, в которой исчезает любая реальность, т. е., собственно, работа. Религия, разумеется, проще всего определяется как то, чем человек занимается по воскресеньям, по праздникам и после работы. Раньше по воскресеньям ходили в церковь. Сегодня смотрят по телевидению ток-шоу на эротические темы или, на худой конец [Боря, это место у тебя получилось стилистически гениально. — И. С.] читают Лакана, т. е. исполняют обряды новой религии подсознания. Очень мило — и вполне увлекательно. Но все же — не до такой же степени. Народ просто сошел с ума и потерял представление о всяком здравом смысле. Вместо того чтобы помнить о том, что они по-прежнему зарабатывают себе на жизнь в поте лица своего, наши новые теологи подсознательно возомнили себя какими-то аристократами и священнослужителями исторически неизвестной и потому «подсознательной» утопической эпохи (всем реальным аристократам и священству тоже приходилось-таки покрутиться). Впрочем, на практике религиозно-аристократическая ри-

торика только маскирует окончательное вытеснение культуры из сферы серьезной жизни в сферу воскресных развлечений. Вместо того чтобы протестовать против этого вытеснения, новая теология отреагировала на него тем, что провозгласила воскресные развлечения самым важным в жизни, окончательно потеряв при этом всякое чувство юмора.

Венские евреи, вроде Фрейда, вдруг начали воображать себя царями Эдипами, швейцарские буржуа, вроде Юнга, — чем-то наподобие Кришны, а парижские библиотекари, вроде Батая, ацтекскими жрецами. Все же остальные — то маркизом де Садом, то азиатскими номадами, то карнавальным «гротескным телом», то, на худой конец, персонажами Хичкока, как тот же Жижек (из социалистической перспективы Хичкок представляется прежде всего апофеозом красивой жизни). К этой аристократической позе очень подходит и любовь к перформативным высказываниям, выражаемая дефинициями типа: «Искусство — это то, что я считаю (или институции, частью которых я являюсь, считают) искусством»; «Подсознание — это язык» и т. д. Да и «бесконечное движение дифференции» у Деррида — также приятное состояние постоянной нерешительности и откладывания работы на завтра: завтра, завтра — не сегодня. Кстати, эстетизация ужаса, войны, террора, жертвы, вампиризма, равно как и дискурс о власти (в который на наших глазах преобразился, в частности, марксистский дискурс о труде), отсылает ко все той же сфере традиционных аристократических занятий, приятно совпадающих с отдыхом и досугом. Нельзя не заметить, что современные войны происходят, в основном, в регионах, в которых людям начала угрожать работа, вследствие экспансии современного туризма (Палестина, Югославия, Цейлон, Корсика, Кавказ и т. д.). Люди воюют, чтобы их не заставляли работать кельнерами: война как продолжение отдыха другими средствами. Также и художники нынче все борются за власть в художественном мире вместо того, чтобы спокойно работать. Кого ни спросишь — у всех стратегии, как будто перед тобой одни Наполеоны и Талейраны.

Почитаешь все это, посмотришь на все это, потом оглянешься на себя самого — так просто стыдно становится. Мало того, что никаких желаний уже давно нет. Мало того, что с наслаждениями напряженно. Мало того, что относительно тела можешь только сказать, что глаза устали, спина устала и голова тоже устала — а все приходится писать. Так и стратегий никаких уже нет, потому что память вовсе отшибло: дай-то Бог вспомнить, куда надо ехать, что надо взять с собой, куплены ли билеты, заказана ли гостиница — а уж вспомнить, зачем едешь, что будешь говорить и с какой стратегической целью, просто абсолютно исключено.

И это у всех моих знакомых так. Все работают, все устали. Свободного времени просто нет. И у тебя, я знаю, тоже так. Как я подумаю, что ты еще всю дорогу из Мюнхена в Констанц и обратно мотаешься — так я просто в ужас прихожу и не знаю, как ты все это выдерживаешь.

Откуда же этот аристократизм у людей берется? Недавно я перечитывал Ролана Барта — и мне пришли в голову некоторые соображения по этому поводу. Барт провозглашает и одновременно интерпретирует «смерть автора», т.е. исчезновение с культурного горизонта пишущего, работающего, трудящегося человека, так, как будто «смерть автора» демократизирует литературу, уравнивая автора с массой читателей: автор есть не более нежели еще один читатель своего собственного текста. Единство текста не заключено в тайне авторского замысла, в субъективности автора. Может быть. Но есть все же одно различие: автор свою версию текста написал, а читатель — нет (или, если и поработал, то меньше автора).

Материальность знака, или текста, или письма, о которой говорит Барт, означает не только то, что субъективность автора не имеет привилегированного доступа к тексту, но и то, что никто (включая самого автора) не получит к тексту доступа, если текст не будет написан. Речь идет не о смысле, сигнификате или значении. Речь идет о другом: текст получает существование, если он получает время и пространство для этого существования, обеспечиваемые носителем текста, которым могут быть бумага, компьютерная память, пленка, все что угодно. Но этот материальный носитель текста, во-первых, начинает функционировать как таковой исключительно вследствие работы автора и, во-вторых, лежит глубже, нежели любое подсознание, реализуемое на уровне самого текста, будь то даже сюрреалистическое автоматическое письмо. И именно материальный носитель текста, а не авторский замысел обеспечивает единство текста: можно деконструировать сколько угодно смысл текста — сам текст от этого не рассыплется.

Работа имеет онтологическое измерение, лежащее глубже всех аристократических претензий, выставляемых на уровне сигнификатов; она впервые предоставляет этим самым сигнификатам время и место. Хайдеггер говорил: «Время есть». Поэтому мы и можем «дать себе время» написать что-либо — например, нашу переписку. Т.е. дать этой переписке наше время, отобрав его у самих себя. Но сколько у нас этого времени? Мало. Можно сказать вопреки Хайдеггеру: времени нет. Или: почти нет. Мы живем в условиях онтологической, а не только практической нехватки времени. И тем не менее готовы пожертвовать последним [наверное, и в смысле: самым последним, что имею. — И. С.], в

то время как другие на это не готовы. А это означает: чукча все же писатель, а не читатель.

Бартовская претензия на демократизм — большая ложь. Читатель — это вовсе не демократическая фигура, а аристократическая. Речь идет о человеке в условиях досуга, свободного времени, когда он решает: а не почитать ли мне чего-нибудь? И писатель приносит плоды своих трудов на суд читателю. А читатель судит вполне аристократически: хорошая вещь или говно. Барт был готов отказаться от претензии на писательскую исключительность, т. е. от попытки заставить читателя читать себя и восхищаться собой под угрозой политических репрессий или обвинений в некультурности, от попытки господства над читателем. Но на роль трудящегося писателя Барт тоже не был согласен — недостаточно аристократично. Если не быть тираном, то уж лучше быть читателем, нежели писателем. Лучше быть простым аристократом, нежели простым рабочим. Лучше жить вечно и оставаться юным в условиях досуга и праздника, нежели жертвовать своим временем и умирать, как справедливо отмечает Барт в своей лекции о литературе и власти.

Одна только вышла незадача: в погоне за аристократизмом со всеми его атрибутами, вроде наслаждения и власти, мы, в качестве авторов, действительно утрачиваем нашу субъективность, которая состоит все же в работе и местонахождении которой — вне текста. Это «вне текста» не есть, разумеется, авторские душа, смысл и замысел. Но: скрытый за текстом его носитель, который, как показала история авангарда в этом столетии, все же не может быть полностью выявлен и сам стать текстом. Ни Малевич не смог выявить до конца материальность холста, ни Малларме — материальность листа бумаги. Наше отношение к пространству-времени текста не может быть поэтому вполне аристократическим отношением чтения и созерцания, но остается «темной» областью труда. А эта область труда и есть, собственно, зона нашей субъективности, недоступная никому — в том числе и зрителю, и читателю.

Так что, как ты видишь, я не думаю, что твои вопросы ведут в тупик и что мы должны капитулировать перед новой теологией развлечений. По меньшей мере я слишком устало себя чувствую в последнее время, чтобы ей поддаться — да и ты, кажется, не особенно отдыхаешь, несмотря на свободный семестр. Но, с другой стороны, если отвлечься от теологии — то мы, надеюсь, еще и развлечемся, и отдохнем. До встречи.

*Твой Борис*

## 2. ДИАЛОГ С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ. (С ВЛАДИМИРОМ СОРОКИНЫМ). КЛОНЫ И АНГЕЛЫ

*Игорь Смирнов.* Статьи, появляющиеся в последнее время по поводу окончания нашего столетия, а вместе с ним и тысячелетия, обычно констатируют то обстоятельство, что это всего лишь календарная дата и что, таким образом, мы не должны слишком беспокоиться из-за того, что время, которое отведено человеческой культуре, истекает. У этого мнения есть множество подтверждений в истории. В 1000 г. Византия ожидала конца света, который, как мы можем убедиться, не случился. Точно так же русские в 1492 г., на исходе седьмой тысячи лет от сотворения мира, верили, что вот-вот должно наступить светопреставление. Под занавес XIX столетия оно виделось Вл. Соловьеву. Вопрос, который нам следует обсудить, итога наш век, состоит, как мне кажется, в следующем: действительно ли мы имеем дело только с формальным счетом времени или же та культура, которую мы с этим веком связываем, близится к своему финалу.

*Владимир Сорокин.* Безусловно, три нуля завораживают, и кажется, что век грядущий будет еще более невероятным, чем XX-й. Но возможно, что это всего лишь наша эйфория; может быть, именно XX в. будет гораздо сильнее грядущего. Мне кажется, что век уходящий трудно переоценить, и, возможно, XXI в. будет дан нам как некая площадка, с которой мы попробуем оценить дистанцированно век XX-й.

*И. С.* Ты по-футуристически начал с будущего, с предвидения. Меня просто пугает мысль о том, что может случиться в следующей зоне, потому что в этом веке произошло уже так много, что даже трудно суммировать случившееся. Только что я перечитал в юности читанные Нобелевские речи Камю. Он говорил: мы живем в интересное время. Речи произносились в середине столетия. Я не думаю, что сейчас, на закате столетия, мы живем в интересное время. Я пола-

гаю, будущее будет все-таки занимательней, потому что наступает некий провал, которого в человеческой истории еще ни разу не бывало. Этот провал — столь неслыханное явление, что ничего более информативного, чем он, в жизни человечества пережить нельзя. Жаль только, жить в это время опасное Мне не придется. Придется — тебе.

*В. С.* А что ты имеешь в виду под понятием «провал»? Провал чего?

*И. С.* Страшно произносить эти слова: я полагаю, что человеческая культура исчерпалась. Есть много симптомов, указывающих на то, что истощились те возможности, которыми человек всегда располагал. Я вижу, например, конец гуманитарных наук, который наступил лет пятнадцать тому назад, тогда — еще незаметно. Лингвистика после генеративной грамматики Хомского и семантического развития этой грамматики не выдвигает новых теорий. Литературоведение тоже не находится на подъеме, оно пережило взлет, когда была создана теория интертекстуальности, когда возникли неориторика. Но теперь эти новаторские достижения филологии превратились в общее достояние — они изменяются экстенционально, не интенционально. Разумеется, гуманитарные науки — не самое главное для дальнейшей практической жизни человека; может быть, естественные науки существеннее. Может быть. Но если задуматься над тем, что происходит сейчас в цикле естественных наук, то тоже становится как-то не по себе. Главное изобретение в биологии последних лет — это создание клонов. Они не прибавляют нам интеллекта. Только что состоялось чисто техническое открытие, заключающееся в том, что из эмбрионов можно получать любые человеческие органы. Замечательно, за счет этих органов можно продлить жизнь старым людям, но их жизнь увеличивается в объеме таким образом, что уничтожаются дети. Перед нами возвращение к какой-то эпохе Кроносовых жертв: к пожиранию детей, производимому в расчете на то, что оно спасет родителей от смерти. Общество вообще находится в критическом состоянии — большая его часть становится пожилой. Множество нахлебников, слишком мало производителей, слишком мало творцов. После 60—70 лет человеку редко удается создать что-нибудь новое, и именно это существо со съезжившейся творческой потенциальностью оказывается главным героем современного западного социума, именно его жизнь обслуживают нынешние технические изобретения. Можно было бы увеличить перечень симптомов, которые свидетельствуют о том, что мы

способны покончить с собой и без атомной бомбы. Она истребляет жизнь, которую преодолевает разум изобретателя. Клоны, напротив, — биомасса, в которой не родится ни одна идея. Что за провал испытает человеческая культура предсказать в конкретных деталях нельзя, потому что предсказание всегда основывается на некотором, хотя бы минимальном, опыте. У нас нет опыта абсолютного провала.

*В. С.* Мне кажется, в конце любого века возникает подобное чувство катастрофизма. Но в конце XX-го есть одно устойчивое чувство: у человечества, у человеческой культуры наблюдается некая усталость восприятия, усталость человека от самого себя. В принципе это совпадает с идеологическим крахом антропоморфизма; слоган «человек более не есть мера всех вещей» становится актуальным. Это следствие и движения зеленых, и опытов в области генетики, а также некоторой пробуксовки культуры. Культура не раздражает наши нервные окончания, как раньше, и есть очень мало жанров, которые, хотя бы на мгновение, вызывают то чувство забвения себя, что дарили нам в прошлом великие произведения культуры. Идеологически человечество готово выйти за рамки человеческого; «человеческое, слишком человеческое» надоело человеку. Крах, о котором ты говорил, для меня означает, прежде всего, крах нашей психосоматики, которая более не в состоянии справляться с самой собой. Другое дело, получится ли это преодоление человеческой природы, о котором сейчас говорят на каждом углу? Не будет ли это новой утопией? Не будет ли это похоже на попытку создания нового человека, которой был посвящен наш кровавый век?

*И. С.* Ты затронул сразу очень много чрезвычайно интересных тем. Я думаю, все-таки можно попробовать обобщить опыт нашего столетия, несмотря на то, что в XX в. сменяли одна другую разные культуры. По-моему, XX в. начался не в 1901 г., а несколько раньше — в 80—90-е гг. прошлого века. Три большие культуры, которые последовали одна за другой, — вначале декадентство и символизм, затем авангард и тоталитаризм, наконец, постмодернизм — объединяются общим стремлением подвести итог человеку. Символизм старался пережить, как говорил Андрей Белый, все века и все народы, суммировать в себе трудно обозримые накопления прошлого. Авангард, как, впрочем, и тоталитарная культура, попытался заново начать человеческую историю, жить не сегодняшним днем, а будущим. Постмодернизм, разочаровавшись во всех этих усилиях, отказался по-

нимать себя как создание человека. Ты абсолютно прав: наше время более не хочет быть антропоморфным. От человека первым отрекся Фуко в своих «Словах и вещах», в которых он возвещал возникновение иной культуры, для какой человек не будет мерой всех вещей. Возникло множество проектов — как расстаться с человеческим. Например, согласно Лиотару, построение гигантских компьютерных систем избавит человека от необходимости хранить в себе свое прошлое, что человек всегда делал, будучи историком, интересуясь тем, что было до него, и это освобождение от памяти создаст новое существо — новое не в расовом, не в классовом, не в биологическом смысле, просто новое, не отягощенное никакой памятью о себе подобных. Можно было бы продолжать приводить примеры того, как в наши дни предпринимается отказ от понятия человеческого. Вопрос состоит в следующем: смогли ли мы действительно отказаться от себя? То, что наблюдается усталость человека от человека, не вызывает сомнений. Но как найти себя за своим собственным пределом? В конце концов XX в. есть и подведение итогов под намерениями преодолеть человека, сотворить сверхчеловека. Все эти чаяния оказались несостоятельными. Что мы с тобой можем предложить взамен сверхчеловека Ницше, социалистического человека, расового человека 30-х гг. или нулевого человека постмодернизма? Ты себе это представляешь?

В. С. Попытка преодоления человеческой природы тянется еще с Руссо и через Ницше проникает в наш век. Наверное XX в. был веком первого подхода к воплощению этих идей, но быстро выяснилось, что коллективистский подход не породил нового человека. Попытка навалиться на человеческую природу всем миром не удалась, потому что человеческая природа сильнее коллектива, о нее разбились все тоталитарные системы, и человек, хоть и достаточно изуродованный, остался по-прежнему *homo sapiens*. Наверное, сейчас будет другой подход. Например, генная инженерия — одна из отмычек к исследованию человеческой природы. Мне кажется, очень перспективно и заманчиво слияние геной инженерии и мультимедиаальных и наркотических миров. Наверное, в этом направлении и будет двигаться человечество. Культура подает нам знаки этого движения, и по некоторым произведениям современной культуры можно судить о возникающих тенденциях. В этом смысле очень важна четвертая серия фильма «Чужой», которая завершила трилогию эпической борьбы человека с античеловеческим монстром, который пользовался челове-

ком как мясом для выращивания своего потомства. Три серии посвящены беспощадной борьбе с Чужим, и в четвертой серии под названием «Возрождение» человек неожиданным образом побеждает Чужое, сливаясь с ним. Оказывается, что человек выигрывает, т. е. его природа улучшается. Я думаю, что человек будет стремиться к симбиозу с другим, с нечеловеческим. Идеологически мы к этому готовы. Нас подготовили к этому постмодернизм и новая французская философия, разочарование в коллективизме и во Фрейте, который практически человеку не помог.

*И. С.* Для меня один из главных знаков современной культуры и знаков конца культуры вообще — это ты и твоё творчество. Я бы сейчас не хотел эту проблему подробно обсуждать, потому что неловко и некорректно захлеб хвалить партнера по диалогу, но я и впрямь думаю, что твоё творчество — одно из самых значительных явлений культуры второй половины XX в., в высокой мере адекватное ей по своему финализму. Оставим эту тему.

Я не верю в генную инженерию. Она может создать ещё одно тело. Но человеческое тело — в момент его рождения по меньшей мере — есть тело животного, тогда как человек есть преодоление животного тела. Шаман, чтобы впасть в транс, потреблял всякого рода психеделические средства. В этом смысле современное увлечение наркотиками ничем не отличается от того, что делал архаический человек. Объединение с Другим демонстрирует нам не только современный кинофильм, оно было точно так же свойственно первобытному человеку. Я имею в виду, к примеру, тотемизм, который связывал животное и человеческое в нечто единое. Я думаю, все эти попытки с помощью экстремальных средств выйти за пределы человеческих возможностей, которые ты сейчас перечислил, возвращают нас к самому началу человеческой истории. Философия уже на ранней стадии своего развития обдумывала проект иного человека, чем тот, который нам дан. Вспомним Платона. Идеальное государство было предназначено для того, чтобы в нём могли жить новые люди, люди-философы. Ты совершенно справедливо упомянул Руссо, но задолго до Руссо и христианская философия хотела создать другое, чем человеческое. Человек просто для Блаженного Августина, как и для христианского философа Паскаля, — это ничто; только человек, который объединяется с Богом, представляет собой нечто. Ницше не был одинок. С ним соревновался Бергсон. Если Ницше хотел явления нового человека как такового, то Бергсон вдогонку за Ницше мечтал о новом способе познания, о сверхпозна-

нии, которое основывалось бы на слиянии рационального мышления и интуиции. Человек, таким образом, в своей наиболее абстрактной способности к мышлению — в философии — не хотел думать о самом себе. Он отказывался от рассуждения о себе, он думал об Ином. Именно эту тенденцию довело до конца наше время, которое в лице Фуко и многих ему подобных вообще отвергло понятие человека. Очень может быть, что провал, о котором я говорил, наступит как раз в тот момент, когда человек захочет обратиться к себе и понять, что он такое. Вот тут-то он и должен испытать некое изумление и завершиться. Только подлинное самопонимание и может означать конец для того, кто все время тратит себя на то, чтобы что-то постигнуть, т. е. для человека. Я солидарен с тобой в том, что cyberspace приготавливает новые возможности для этого понимания, потому что в компьютере мы как раз и видим то Другое, чем мы не можем стать, или лучше сказать, то Другое, чем мы только и можем стать — всего лишь другое воображаемое.

*В. С.* Говоря о попытке человека увидеть себя, интересно вспомнить о роли искусства. Банальное, распространенное представление об искусстве как о зеркале, в которое человек смотрится, мне кажется неверным. Искусство во все времена было не зеркалом, а мутным стеклом, это локальная попытка человека как раз не увидеть себя. Это был тот наркотик, на котором человечество сидело в блаженном неведении, в непонимании себя и нежелании понять себя. Не будет ли XXI в. веком полного вытеснения всех жанров благодаря новым мощным завоеваниям на молекулярном уровне? Не будет ли XXI в. тем веком, когда человек наконец сможет себя увидеть? Сейчас стремительно начинают вымирать некоторые жанры культуры, они перестают играть роль наркотиков, уступают место более мощным средствам. Компьютер — такой мощный наркотик, но компьютер не жанр искусства. Так мне кажется. Ты согласен с этим?

*И. С.* Я еще вернусь к разговору о компьютере, но вначале хочу задать тебе один вопрос. Ты точно, с моей точки зрения, определил искусство как попытку человека избежать самопонимания. Но это негативное определение. Как бы ты определил искусство позитивно?

*В. С.* Позитивно, это тот наркотик, который позволяет нам, хотя бы на время, преодолевать священный ужас нашего бытия. Любое сильное произведение искусства заставляло человека забывать не то что себя, но и нормальное

течение времени. По-моему, самый главный ужас нашей жизни проистекает из нашей зависимости от времени, от него никуда не денешься, с ним нельзя вступить в активный контакт. Время — это главная тоталитарная система, главный лагерь, в котором мы живем. Искусство было некоей уловкой, иллюзией преодоления времени.

*И. С.* Видимо, человек возник одновременно как эстет и как религиозное существо. И в той и в другой ипостасях он надеялся на то, что у него есть возможность жить помимо своего тела, так сказать, жить и в смерти. Искусство есть надежда на то, что можно жить в смерти. В этом и состоит главная неадекватность искусства, неадекватность тому, что ты назвал течением времени. Как только человек захочет действительно познать себя без всяких уловок, а эти уловки могут иметь и эстетический, и философский характер, искусству должен наступить конец, как об этом говорил Гегель. Встает вопрос: способно ли искусство вместе с этим, познавшим себя, человеком существовать в какой-то иной форме? Допустим, в форме компьютерного искусства? Но что такое компьютерное искусство? Это, конечно, работа в Интернете, коллективный труд. Эксперименты по созданию коллективного искусства уже имели место. Интернет отличается от авангардистского коллективного творчества тем, что он представляет собой своего рода архив, если не сказать помойную яму, куда можно сбросить все что угодно. Но архив не является той средой, где может жить искусство. Искусство всегда актуально для человека, даже в тех случаях, когда оно «музеифицировано», как сказал бы Боря Гройс. Музеи посещают разные люди, в архив ходят только ученые — те, у кого искусство не вызывает эмоциональных потрясений, они исследуют его. Поэтому я думаю, что Интернет не самое подходящее место для создания нового искусства. Скорее всего, он — похороны искусства, сдавание его в архив и сдавание коллективное: многие из нас принимают в этом участие.

*В. С.* Я хочу сейчас несколько отстраниться и посмотреть на проблему из другой области. Лет тридцать назад, когда был еще в разгаре шахматный бум, все гроссмейстеры в один голос говорили, что человек всегда будет обыгрывать машину, и только один Роберт Фишер предсказал конечную победу машины над человеком. Так и получилось, суперкомпьютер выиграл у Каспарова. Думаю, будет выигрывать в будущем. Наши рассуждения о человеке, о человеческой психике, о тонких ее проявлениях могут разбиться о некий

айсберг. Человек — человеческое тело, человеческий мозг — еще не исследован, не увиден и не рассчитан на молекулярном уровне. Это очень простая вещь, она пересекается с идеалистическими, эмоциональными высказываниями гроссмейстеров о шахматах. Шахматы — это 64 клетки и 32 фигуры, это система, которая может быть прощупана до конца. Так же и человек. Мы относим себя к некоему конечному числу молекул, которые образуют такое же конечное число молекулярных связей. Мне кажется, что когда человек наконец просчитает себя, тогда и наступит крах очень многого. В первую очередь литературного осознания человека. Тогда может наступить и полный крах искусства как более ненужного, потому что человек наконец увидит себя. Психиатрия возникла из-за того, что мы пока не можем просчитать свой мозг, мы не можем его увидеть на молекулярном уровне. Вполне вероятно, что это произойдет в XXI в.

*И. С.* Вот, оказывается, и шахматы кончились или близки к завершению. Я подозреваю, что один из симптомов упадка, в котором мы пребываем, заключен и в том, что многие науки, в частности нейрология, находятся сейчас в состоянии быстрого роста, расширяющего наши знания, но не приносящего понимания явлений. Мы узнаем все больше и больше о деятельности и функциях разных участков головного мозга человека. И все же: чем лучше мы информированы о строении мозга, тем меньше мы понимаем, как человек может заниматься обобщениями и продуцировать то, что исследователи называют *qualia*, т. е. каким образом он способен, например, разные березы рассматривать как одну и ту же березу. Ни одни из изученных участков мозга не дает ответа на этот вопрос. Сможет ли молекулярная модель человека приблизить нас к постижению того, как человек мыслит, неизвестно.

*В. С.* Я не согласен с этим. Это напоминает те романтические высказывания, что человека никогда не победит машина. Можно локализовать очаги возбуждения, но мы же пока не видим самих себя на молекулярном уровне, мы не исчислены. Человек, ты правильно сказал, это открытая книга. Произойдет ли его закрытие? Будет ли он описан и исчислен целиком? Теоретически это возможно, но последствия такого исчисления непредсказуемы. Мне кажется, это может радикально изменить наше бытие вообще.

*И. С.* Я хочу вернуться к упомянутому тобой Фрейдю. Ты сказал, что он — теперь это все более и более выясня-

ется — нам ничего не дал. Действительно, в американских университетах фрейдизм изучают те, кто занят текстами: литературоведы, культурологи, искусствоведы и т. п., а вовсе не те, кто заняты человеческой психикой. Но все же как бы ни были ошибочны отдельные утверждения Фрейда, я думаю, многое из того, что он утверждал, остается в силе и не может быть оспорено. В частности, его понимание личности как такого образования, которое создается в результате некоей травмы, испытываемой нами в детстве. Мы, вероятно, построим молекулярную модель человека, хотя наверняка это произойдет нескоро, но она не будет описывать отношения человека с детских лет в семье, в социуме, в истории и в культуре. Только на молекулярном уровне мы не в силах объяснить историческое существо, каковым является человек в противоположность животному, которое подчиняется законам биологической эволюции.

*В. С.* В этой связи мне хочется вернуться к шахматам, как к метафоре нашего разговора об исчисленном. Машина, которая обыграла Каспарова, просчитывала несколько сот миллионов ходов в секунду. Наверное, в будущем будут машины, которые будут считать миллиарды миллиардов ходов в секунду, в такой ситуации даже чемпион мира окажется пятилетним ребенком и у него не будет никаких шансов обыграть эту машину. Машины будут играть между собой и возникнет, вероятно, такая ситуация, что все наработанные человечеством дебюты за тысячелетнее существование шахмат могут оказаться бесполезными и ненужными. Мне очень интересно, как будет выглядеть партия этих суперкомпьютеров. Может быть, она будет протекать совершенно дико для нашей логики восприятия шахмат. Может оказаться, что произойдет стирание человеческой истории шахмат. Не произойдет ли точно такое же стирание человеческого восприятия человека, накопленного человеческой историей, после того как человек будет исчислен на молекулярном уровне?

*И. С.* Конечно, произойдет. Случится стирание, например, всей философии позднего Витгенштейна, который рисовал человеческую культуру как совокупность разного рода языковых игр. Игра больше не будет достоянием человека, она станет уделом машины, которая в своих игровых способностях человека уже превзошла и будет превосходить далее. Следовательно, человеку станет интереснее следить за играми машин, чем самому играть. Эта ситуация будет для него более информативной, чем та, которая воз-

никает, допустим, на футбольном поле, где он сам выступает в качестве homo ludens. Я полагаю, что и в том случае, если будет создана достаточно надежная молекулярная модель деятельности человеческого мозга, произойдет стирание прежнего опыта. Разумеется, не исключено, что мы в будущем будем иметь то положение дел, которое Шпенглер воспринимал как упадок культуры, т. е. чисто техническую цивилизацию. Такую цивилизацию, которая более не будет нуждаться в психических особях, в творцах, создающих нечто в результате случайного стечения обстоятельств, пережитого ими в детстве. Но тогда спрашивается: какое место в этом мире останется человеку? Конечно, этот мир мог бы быть ему крайне интересен. Но будет ли он интересен этому миру?

*В. С.* Тема машин — это большая тема, ей уделяли внимание многие. Но мне кажется, что стоит вернуться в уходящий XX в. как в век, который породил в том числе и вычислительную технику, и оценить его уходящую мощь.

*И. С.* Мы попытались заглянуть в будущее, но пора поговорить о содержании XX в. Можем ли мы найти какие-либо исторические, фактические точки отсчета для того, чтобы попытаться охватить это содержание? XX в. был насыщен большим количеством разнообразных событий: здесь и распад колониальной системы, который вызвал возникновение нового постколониального сознания; две мировые войны, которые практически еще не закончились, — ведь то и дело вспыхивают локальные конфликты, порожденные тем, что переделываются границы, установленные в результате этих войн; и многое, многое другое.

*В. С.* Мне кажется, что главное событие XX в. — это русская революция, которая практически повлияла на все, после которой мир разделился пополам, чего никогда не было, и все тоталитарные государства были отчасти инспирированы русской революцией, в том числе и фашистская Германия. Как сказал один художник, тоталитаризм — это диковинный ядовитый цветок, который цветет раз в тысячелетие. Вообще чрезвычайно редко в истории удается организовать массы, сплотив их какой-то утопической идеей, и заставить двигаться в одном направлении. Если говорить о главной характерной черте XX в., то, наверное, это коллективизм. Об этом уже достаточно было написано, я здесь полностью разделяю точку зрения Ортеги и Шпенглера: XX в. — это победа коллективистского начала, победа кол-

лективной истории и коллективной биографии над всем индивидуальным.

*И. С.* Я с тобой здесь полностью заодно. Для меня тоже одно из главных событий XX в. — русская революция. Я предвижу, нас могут обвинить в том, что мы центрированы на стране, где мы родились, но все же дело не в том, что мы силится выдать наш субъективный опыт за что-то объективное. И впрямь русская революция сформировала новую ситуацию в мире: она сделала мир единым. Вторым решающим событием века является, по-моему, вступление США в Первую мировую войну. Знаменательным образом оба события случились в одном и том же году. Именно это вступление превратило войну в глобальную, охватывающую весь мир. Русская революция тоже была деянием, которое преследовало глобальные цели — переделку всего человечества. Я согласен с тобой и в том, что основной опыт, который можно извлечь из истории XX в., — это опыт коллективных, массовых движений. Философы, которые концептуализировали их, не всегда удовлетворяют меня. Когда я читаю у Канетти, что людей сгоняет в толпу их параноидальность, я думаю о том, а не испытывал ли сам автор этой идеи параноидального страха, который внушали ему людские скопища XX в., охваченные единым духом. Но здесь я не собираюсь вдаваться в то, как возникает единодушие больших коллективов. После окончания Второй мировой войны мир попытался превратиться в плюралистический, но все равно идея коллектива, пусть и малого, пусть национального меньшинства, остается ведущей. Если мы посмотрим на экономику нашего времени, мы увидим, что она, преобразуя планету в гигантскую деревню, по сути дела, оказывается продолжением тоталитаризма иными — капиталистическими — средствами. Хотя постмодернистская культура предпринимает усилия, чтобы противопоставить себя культуре тоталитаризма, которая возникла вначале в России, а потом приняла специфические формы в Италии и Германии, все же постмодернизм находится в зависимости от тоталитаризма и полностью освободиться от этого наследия не смог.

*В. С.* Но все-таки если постараться выделить осевое время XX в., не кажется ли тебе, что очень важными почему-то оказались именно 60-е гг.? Даже в большей степени, чем, например, 20-е, когда проходила русская революция. В 60-е гг. произошло, на мой взгляд, окончательное переваривание коллективистских идей, они целиком овладели мировой культурой, дальше и пошла их трансформация.

*И. С.* Действительно, 60-е гг. показали, что преодолеть тоталитаризм практически невозможно. Что они противопоставили тоталитаризму? Как выяснилось, или другой, смягченный, тоталитаризм, или пустоту, деконструкцию всего культурного наследия. 60-е гг. не сумели выдвинуть подлинную альтернативу по отношению к тем идеям, которые получили хождение в мире в 20—40-е гг.

*В. С.* В связи с этим уместно поговорить о поколении шестидесятников, очень важном поколении в истории XX в. У моего поколения многие черты шестидесятников вызывают раздражение. Я думаю, дело здесь не только в известной антипатии последующего поколения к поколению отцов. Это еще и следствие сомнительных позиций и сомнительных методов борьбы поколения шестидесятников. Я, например, никогда не прощу им использования языка искусства как средства политической борьбы. Если говорить о русских шестидесятниках, в этом поколении гораздо меньше талантливых людей, чем, например, в предыдущем — поколении 30-х гг. Большинство литераторов, кинематографистов, поэтов, художников того времени преодолевало свою эстетическую и творческую несостоятельность социальной активностью и было чрезвычайно зависимо от злобы дня, от сиюминутного, что, безусловно, разрушительно для настоящего художника, который должен быть зависим от вечности, как это ни высокопарно звучит. При этом оказалось, что и наши, и западные шестидесятники хотели одного — социализма с человеческим лицом. В Германии это кончилось тем, что они благополучно стали новой культурной номенклатурой с довольно косными взглядами. В России шестидесятники помогли советской власти избавиться от коммунистической идеологии, тем самым обеспечив ей сейчас абсолютную полноту власти, т.е. практически они развязали руки олигархической номенклатуре, которая сейчас управляет Россией. Таким образом, отчасти сбылось предсказание Оруэлла в романе «1984» по поводу режима олигархического коллективизма.

*И. С.* Шестидесятники, нет сомнения, хотели социализма с человеческим лицом, а вместо этого они получили тоталитаризм в другой форме. Нынешняя ситуация в России, если сравнить ее с той, что была до горбачевских реформ, по сути дела ничем от предыдущей тоталитарной не отличается: тот же парламент, который не может принимать никаких серьезных решений; все тот же умирающий глава государства; все тот же террор, который, может быть, потерял свою

государственную форму и вылился в насилие мафии, но тем не менее террором остался; и все та же Чека, которая к своим разнообразным наименованиям присоединила еще одно. Таким образом, та демократия, которую получила Россия, — всего лишь демократия СМИ, разноречивой печатных мнений, а не демократия по существу. Революция 1968 г. в Западной Европе оказалась пародией на тоталитарные революции, она не состоялась, она была холодной революцией, не оставившей после себя серьезных политических, экономических и идеологических следов. Русские шестидесятники надеялись противопоставить тоталитарному монолизму свой шестидесятнический диалогизм, они жаждали полифонизма культур. Но что из этого получилось? Могут ли они вести, например, диалог с новым поколением, которое теперь народилось в России? С тобой? Нет, не могут. Что касается 30-х гг., то я думаю, нам еще предстоит открыть заново это время. Те чрезвычайно интересные, в высшей степени радикальные ценности, которые в это время были порождены многими мыслителями и во Франции, и в Германии, и в других европейских странах, хотя по отдельности и впитаны в мировую культуру, но еще не рассмотрены как некое цельное ее завоевание в их взаимосвязях, в их единстве.

*В. С.* Ты сказал, что террор практически продолжается. Да, он просто переместился в другую область. Если раньше он носил идеологический, тотальный характер и покрывал все горизонты, то сейчас он стал экономическим. Такие террористические методы государства, как невыплаты заработной платы своим гражданам или периодическое обманывание их посредством финансовых махинаций на государственном уровне, — это все нормальные тоталитарные принципы. Можно говорить о государственном капитализме в России в дикой форме, симбиозе посткоммунистического государства с диким капитализмом. Получается, что русская революция никак не может завершиться, она продолжается в гнилой, болезненной форме. Безусловно, это тяжело действует на русскую культуру, которая не в состоянии породить ничего интересного уже на протяжении тридцати лет. У меня это вызывает тяжелое чувство.

*И. С.* Великие революции — такие, как французская или русская, — в отличие от революций просто, не могут вообще завершиться, они продолжают сотрясать нацию еще десятилетия после того, как они произошли, после того, как взорванная ими жизнь, казалось бы, вошла в нормальное

русло. Великая французская революция отозвалась эхом в 30-х и 70-х гг. XIX в., в XX в. она дала французскую революционную культуру: кубизма, сюрреализма, экзистенциализма, вплоть до французского постмодернизма. Точно также и русская революция продолжалась в новых революционных действиях: сталинский террор — повторение террора, бушевавшего в гражданскую войну. Но русская революция в противоположность французской не смогла перевоплотиться из социального действия в культурную революцию, и вот за это наши шестидесятники тоже несут ответственность. Они, как мне представляется, не смогли понять своей культурно-революционной миссии. Все же не стоит отрицать 60-е гг. полностью. Я думаю, что имеет смысл выделить из этого поколения некоторых его представителей, сумевших занять метапозицию по отношению к тому, что делали их современники, и осознать то обстоятельство, что они не в состоянии заместить тоталитаризм ничем, кроме идеологической пустоты. Таков, например, Бодрийяр во Франции, который отвергает весь символический порядок, требуя от человека признать очевидность, неизбежность смерти, великого ничто, не втягивать ее в символический обмен. Если брать русскую культуру, то здесь мне приходит на ум Андрей Битов и его роман «Пушкинский Дом», в котором нам говорится: предыдущим завоеваниям культуры теперь нечего противопоставить, кроме архива, кроме собирания созданного ею; это роман о невозможности дальнейшего культурного творчества.

*В. С.* Опыт московских концептуалистов показал, что место для культурного творчества есть и довольно серьезное. Мне кажется, то, что сделали концептуалисты в 70—80-е гг., очень важно для русской культуры. Они сумели сделать то, что не получилось у шестидесятников, — отстраниться от революции, не влипнуть в нее, создать независимое эстетическое пространство, которое не зависит от советского коллективного тела, советской культуры, а существует вопреки ей, хотя и использует ее эстетику.

*И. С.* Да, концептуалистам удалось то, чего не добились шестидесятники, им удался диалог с тоталитаризмом без уступок партнеру, разговор на равных.

*В. С.* Мне хочется еще раз обсудить проблему коллективизма и поговорить о мутациях коллективного тела, которое было главным действующим лицом XX в. Летом 1998 г. я оказался в Берлине на параде любви — ежегодном дей-

стве рэйв-культуры. Я наблюдал огромную, более миллиона человек, толпу, у которой, как мне кажется, есть черты коллективного тела ХХІ в. Надо сказать, что это событие потрясающее по многим причинам. Просто собрать более миллиона людей в европейском городе на широкой улице для того, чтобы люди немного потанцевали под рэйв, — это просто невероятно. Вообще сейчас собрать людей становится все сложнее, но парад любви принципиально отличается от таких коллективных событий, как, например, футбольный матч или рок-концерт. Эта толпа совершенно по-другому устроена, в ней нет героя толпы, там все участники толпы становятся героями, у нее нет униформы, все приходят в совершенно разных нарядах, и у нее совсем другая энергетика — это не агрессивная энергетика футбольных фэнов и даже не энергетика трясущихся в экстазе поклонников, например, Rolling Stones. Энергетика людей на параде любви мягкая и неагрессивная. Это огромное коллективное тело, которое растянулось по улице 17-го Июня, построенной Шпеером как будто специально для этого события, эта толпа в любой момент может развалиться на единицы так же, как и собраться. Несмотря на то, что там люди стоят, как сельди в бочке, между ними чувствуется дистанция, privacy, т. е. они не слеплены в невменяемый ком футбольных болельщиков. Также чрезвычайно важно, что та музыка, которую они слушают, и та вибрация, которую они предпринимают своими телами, лишены словесного текста. Это толпа, которая наслаждается музыкой без слов. В этом я вижу попытку освободиться от идеологии вообще, от силы слова, которое по природе своей идеологично. Любая рок-песня чрезвычайно зависит от слова, рэйв-культура — это попытка покончить с веком идеологии. Мне кажется, это очень важно.

*И. С.* Тоталитарное коллективное тело — это такое тело, которым жертвуют в той или иной форме. Это заключенные, выстроенные на лагерную переключку; это коллективное празднество, посвященное жертвам революции; это людские массы на фронте. Только такая коллективная жертва способна оправдывать идеи, которые выдаются за значимые для всего мира. То, что ты сказал о парадах любви, крайне интересно. Здесь тело действительно перестает быть умирающим. Перед нами чисто сексуальное тело, тело как таковое, продолжающее жить, несмотря на то, что оно попадает в растворяющую его толпу. Оно прекращает выстраивание идеологий и, таким образом, аналогично критике идеологий, ведущейся в последнее время. Что такое критика идеологий? Это критика способности человека выдвигать

идеи (кажется, я перекликаюсь с Рорти). Что мы можем предложить взамен идеологий? Парады любви показывают, что мы можем противопоставить им только тело как такое, более или менее биологическую данность. Вопрос, который преследовал нас на протяжении всего этого разговора, остается в силе: может ли человек существовать исключительно как тело? Может ли человек жить без идей? Может ли человек перевоплотиться в машину, заменить себя каким-либо электронным инструментом или клоном?

*В. С.* Надо сказать, что в этой толпе на параде любви мне было очень комфортно. У меня не было никакой клаустрофобии или раздражения, которое бывает, когда я попадаю в другую толпу. На параде любви я почувствовал запах грядущего тела, я не знаю, каким оно будет реально, но пока в этой новой толпе мне хотелось быть, что для меня невероятно, потому что я всегда ненавидел толпу. Это первая толпа, которая не давила на меня. Возможно, это проявление подспудного желания человека конца XX в. освободиться от коллективного тела.

*И. С.* Ты хочешь сказать, что это был карнавал без бахтинского карнавального насилия над индивидуальным телом, без обязательного его переворота?

*В. С.* Без телесного низа.

*И. С.* Но как может быть эротика без телесного низа?

*В. С.* Дело в том, что в этой толпе нет разделения полов. В принципе я не чувствую там эротики, этих людей можно назвать бесполоыми, это некие ангелы, которые отдаются музыкальной стихии.

*И. С.* Дай-то Бог, чтобы мы продолжили наше человеческое существование в ангельском чине и образе.

Мюнхен  
1998

## КРАТКИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ НЕ ВПОЛНЕ УВЕРЕННОГО В СЕБЕ АВТОРА

Перед тем как расстаться с этой книжкой, я в самокритичной оторопи от написанного похерил две главы. Одна из них называлась «Возвышенное и поэтическое». За образец возвышенного, превосходящего все возможности фантазии, был взят состоявшийся 1 января 1959 г. половой акт боксера-полутяжеловеса Кришункова, только что выпущенного на свободу из лагеря, с его женой, стюардессой «Аэрофлота», которая погибла через день после вышеозначенного события, получив нокаут, нанесенный ей ревнивым мужем. Пример, на котором я демонстрировал, что есть *sublimus* в моем понимании, отличающемся от кантовского и лиотаровского, был столь крошечен непристойен во многих своих подробностях, что я усомнился в праве автора испытывать этим живописанием читательское терпение. Категорию же поэтического олицетворял мой старый товарищ Толя Гейхман. Кое-какая уголовщина, которая лезла наружу из рассказа о нем, имела отношение не только к его прошлому, но и к моему, что могло вызвать у образованного человечества сомнение в том, так ли уж безупречны немецкие профессора, как считается. Из корпоративной солидарности приходится прибегнуть к фигуре умолчания. Вторая выпущенная глава носила заголовок «Tot ist tot» и представляла собой воображаемый диалог с Сережей Ануфриевым. В данном случае плохо было дело с *political correctness*. Очень плохо — хоть святых выноси. Много хуже, чем в прочих разделах книжки. Пожалуй, даже и намекать не стоит на то, о чем здесь шла речь.

В сию минуту я менее всего напоминаю себе скульптора, избавившего властными прикосновениями резца свое создание от последних лишних частей и отпрянувшего от него на несколько шагов в сторону, чтобы полюбоваться тем, что осталось после того, как исчезло все ненужное. Нет, скорее, я кажусь себе похожим на хирурга, только что закончившего вырезать пораженную раком почку, наполнившего спиртом из мензурки первую стопку и вдруг с неприязнью задумавшегося о парных органах, в работе с которыми так

легко промахнуться. «Сено-солома, ебенать, распотрошить его снова, что ли», — размышляет хирург о пациенте, одновременно безнадежно сознавая, что если он в трудовом угаре удалил здоровую почку вместо больной, то прооперированному уже нельзя помочь. Одним словом, я не знаю, правильно ли я поступил, произведя хирургическое вмешательство в мои тексты. Не стоит ли вернуть выкинутое на место? Но, с другой стороны, сколь далеко может заходить, как сказали бы герои «Бобка», «заголение» перед публикой? Не слишком ли много чести я окажу ей, если выставлю себя уж в совсем откровенном, так сказать, руссоистском, виде? Согласно некоторым источникам, Руссо был увлечен примером обезьян, дрочивших на посетителей зоосада.

Но почему, собственно, мне неясно, как мне вести себя с читателями, каким словом с ними перемолвиться?

Потому, наверно, что я недосоциален. Подлинно антиобщественное существо противостоит окружению во всей своей плоти, беспробудно пьянствуя, оглушая себя наркотиками, не гнушаясь насилием над другими телами. По-настоящему асоциальна только соматика и только замкнувшаяся на себе, безоговорочно отделившая себя от людской массы, поглощенная самоудовлетворением и самоутверждением. Выпить я, конечно, не дурак. Но не порок правит мной, а я руковожу им, подобно просвещенному монарху. Пусть и капризному. Пусть и вовсе не дорожащему монаршими прерогативами. Пусть и разочаровавшемуся — в духе Адорно и Хоркхаймера — в идеалах Просвещения. Вот сейчас, подходя к концу книжки, как раз пора было бы пропустить стаканчик-другой. Не скрою, меня тянет к отпетым асоциальным личностям, но органически я к их числу не принадлежу. Я послушно следую моде, нарушаю распорядок дорожного движения не злокозненнее, чем прочие автоводители, и уже давно взял за правило прибегать к телесному насилию исключительно в целях самозащиты. Такая автоматическая жизнь удобна тем, что на нее не тратишь ума, для которого ведь можно найти и более интересные, нежели повседневность, области приложения. Участвовать же активно в превращении одной формы социальности в иную я категорически не желаю. Увольте! Ибо: как ни меняй общественную практику, она всегда остается тем, что она есть: авторитетной инстанцией, от которой ты зависишь не по собственному выбору, а по той причине, что ей уже подчинился неизвестный тебе, анонимный Другой. Скучен этот Другой, — скажу я тем, кто увлеченно философствует по его поводу. Уныл в своей безликости и распространенности. Нет таких *congrate bodies* — партий, научных школ, орга-

низаций по совместному проведению досуга etc, — которые были бы мне по сердцу. Недосоциальный, я притворяюсь, что таков же, как все, но в действительности я сторонний наблюдатель, который глазет на то, что происходит вокруг него и не вполне отдает себе отчет в том, что он вправе и что не вправе ляпнуть общественности, если выходит за рамки уютного научного дискурса. Все более и более сторонний.

Вот с каким типом имеете вы дело, дамы и господа! Не столько себя он цензурирует, сколько вас лишает удовольствия вождественно обладать его тайнами. С жижекковским субъектом, наложившим на себя «большую печать», у него нет ничего общего. Или есть? Жижек-пыжик, где ты был? — На Фонтанке водку пил. Рената, может быть, ты сбегашь на заправку? Одной, да, было мало. Не видишь, книжку дописываю — потому и не могу сам. Калифорнийского — оно подешевле. Грех не должен быть разорительным, иначе он приведет к воздержанию. Нет, не Уайльд. И не Довлатов. Это я сказал. Э, и два пива. Все-таки говно была русская философия. Но стилистически эти отходы западной мысли были оформлены отлично. Отлично! Ну, кто из соотечественников, скажите мне, писал в XIX в. лучше Соловьева? Стилем, однако, мир не взять. Читает ли мир русских философов? Нет, мир не читает русских философов. Религиозных, я имею ввиду. А в нашем диамате-истмате прежде всякий интеллигентный западный человек прекрасно разбирался. Вот чего Сталин добился! Того, что ни Бердяеву-Перепердяеву, ни Шестову-Хуестову со всеми их европейскими блатными связями не удалось. Соображеньице любопытное, между прочим. Выходит, что мы караем планету только за то, что мы философы никудышные!? «Топчи их рай, Аттила!» — как говаривал Делез. Или Гваттари? «Выпьем за тех, кто командовал роо...» Но и от французов меня как-то воротит. «...тами, Кто умирааал на снегу. Кто в Лееенинград...» Особенно от современных. Lyotard et Gilles Deleuze Довели меня до слез. Довели они меня до этого состояния своей наглой безответственностью. Посулили, что ни мифов, ни эдипальности больше не будет, сами отдали Богу душу, а нам — там, где ни хуюшеньки не осталось, живи! Всё есть. Не надуετε! В Питере есть всё. За Петербургом же ничего нет. По сказанному.

Мюнхен  
1999

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . . .	5
-----------------------	---

### I. СТАРШИЕ

1. Ненадежный рай. Об учителе . . . . .	10
2. Четырехглазый философ . . . . .	22

### II. СВЕРСТНИКИ

1. Пугами Хама . . . . .	38
2. 1. «Европейская». Из истории нравов . . . . .	46
2. 2. «Европейская». (Продолжение). О признанных . . . . .	60
3. 1. Творчество до творчества. Довлатов в поисках роли . . . . .	65
3. 2. Довлатов как рассказчик . . . . .	67
4. 1. Памяти одного стукача . . . . .	72
4. 2. Памяти одного стукача. (Продолжение). Дурная бесконечность текста . . . . .	79
5. Смерть симулякра . . . . .	85
6. Урна для табачного пепла . . . . .	93

### III. ДВА ДИАЛОГА

1. Диалог в письмах. (С Борисом Гройсом). Дать себе труд . . . . .	100
2. Диалог с глазу на глаз. (С Владимиром Сорокиным). Клоны и ангелы . . . . .	108
Краткие заключительные заметки не вполне уверенного в себе автора . . . . .	124

**В 1998—1999 гг. ВЫШЛИ В СВЕТ  
СЛЕДУЮЩИЕ ВЫПУСКИ АЛЬМАНАХА «URBI»:**

- *Выпуск пятнадцатый. Очерки о названиях и пространствах России.* 1998. (В числе авторов — Андрей Сергеев, Борис Рыжий, Кирилл Кобрин, Алексей Машевский, Александр Шаталов, Владимир Садовский, Алексей Кирдянов, Вадим Демидов, Дмитрий Зернов, Валентина Мордерер, Григорий Амелин, Алексей Пурин, Игорь Померанцев, Юрий Шилов, Леонид Гиршович.) 208 с.
- *Выпуск шестнадцатый. Алексей Пурин. Архаика. Книга стихов.* 1998. (Серия «Новый Орфей», выпуск первый.) 176 с.
- *Выпуск семнадцатый. Елена Невзглядова. Звук и смысл.* 1998. (Разделы: «Теория стихотворной речи», «О поэзии», «О прозе».) 256 с.
- *Выпуск восемнадцатый. Кирилл Кобрин. От «Мабиногион» к «Психологии искусства».* Избранные опыты на историко-культурные темы. 1999. (Серия «Кабинет доктора Калигари», выпуск первый.) 72 с.
- *Выпуск девятнадцатый. Владимир Садовский. Краткая характеристика.* 1999. (Рассказы.) 56 с.
- *Выпуск двадцатый. Игорь Померанцев. Почему стрекозы?* 1999. (Книга стихов.) 136 с.
- *Выпуск двадцать первый. Елена Елагина. Нарушение симметрии.* Книга стихов. 1999. (Серия «Новый Орфей», выпуск второй.) 112 с.

## **АОЗТ «Теннис-клуб»:**

- предлагает обучение теннису детей и взрослых (индивидуальное и групповое);
- издает теннисную литературу;
- проводит теннисные турниры;
- организовывает подготовку и строительство открытых и закрытых теннисных кортов;
- предлагает разнообразные спортивные товары высшего качества фирм HEAD (Австрия), Diadora (Италия), Penn (Ирландия), Babolat (Франция)

### **Контактные телефоны:**

*(812) 235-0407*

*(812) 233-4864*

*(812) 235-1791*

Игорь Павлович Смирнов  
(рог. в 1941 г.) — профессор университета  
в г. Констанц (ФРГ),  
с 1963 г. по 1979 г. аспирант,  
затем младший научный сотрудник  
Института русской литературы  
(Пушкинский Дом) АН СССР.  
Закончил филологический факультет  
Ленинградского государственного  
университета. Круг научных интересов  
И. П. Смирнова составляют:  
теория истории, литературоведение  
и философия. Он автор ряда книг,  
среди которых:  
«Художественный смысл  
и эволюция поэтических систем» (М., 1977),  
«Психодиахронология.  
Психология русской литературы  
от романтизма до наших дней» (М., 1994),  
«Ното homini philosophus» (СПб., 1999).  
И. П. Смирнов — член редколлегии  
ряда научных периодических изданий,  
сопоредактор журнала  
«Die Welt der Slaven» (Мюнхен).

---

Книга «Свидетельства и догадки»  
относится к смешанному жанру.  
Она составлена из воспоминаний,  
рассуждений общего характера,  
невьдуманных историй, документов,  
диалогов автора с его друзьями.  
Среди героев этой книги — Д. С. Лихачев,  
А. М. Пятигорский, Сергей Довлатов,  
Иосиф Бродский и другие, как известные,  
так и ничем не прославившиеся лица.